

**мршавко
штапиЧ**

18+

Содержит
нецензурную
брань



**устойчивое
развитие**

Во весь голос

Мршавко Штапич
Устойчивое развитие

Издательский дом «Городец»

2024

УДК 82-31
ББК 84(2Рос=Рус)6

Штапич М.

Устойчивое развитие / М. Штапич — Издательский дом
«Городец», 2024 — (Во весь голос)

ISBN 978-5-907762-18-3

Михаил Штапич — герой наших дней, широкая натура: в прошлом волонтер поисково-спасательного отряда, ныне пярщик, влюбленный, неунывающий и предприимчивый. Его изобретательности и жизнелюбия с лихвой хватит на осуществление планов по устойчивому развитию предприятия и покорению любимой, даже если для этого понадобится заселить выхухолью побережье близ завода, гнаться за Кустурицей, пускаться в бесшабашные и экстремальные путешествия с риском для жизни и здоровья. Содержит нецензурную брань

УДК 82-31
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-907762-18-3

© Штапич М., 2024
© Издательский дом «Городец», 2024

Содержание

1. Восемьсот четырнадцать тысяч рублей минимум	6
2. Как я стал пярщиком	13
3. Отрицательный ущерб	19
4. Пухляк	29
5. Богадельня	39
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Мршавко Штапич

Устойчивое развитие

© М. Штапич, 2024

© ИД «Городец», 2024

* * *

Любимой П. С.

1. Восемьсот четырнадцать тысяч рублей минимум

Все началось осенью, за десять месяцев до поездки на Север.

Сразу стало ясно, что это серьезно.

Вечером пальцы потрескались – сначала на местах суставов, так, что их больно стало сгибать, а к утру уже крест-накрест, глубоко, до мяса, и повсюду, даже на подушечках. По ладоням поползли красные пятна с волдырями: похоже на последствия ожогов или мозоли, но с мерзостью вроде гноя внутри. Безотчетно я расчесывал их всю ночь, и оттого сгустки эпителия и жидкости оставались на простыне и на подушке. К обеду кожа начала сохнуть, лопаться и осыпаться, а сами руки, покрывшись этой коростой, одеревенели.

Только кажется, что эта болячка – ерунда. Закуриваешь утром, когда все вроде бы в очередной раз срослось, и получаешь две трещины: первую на безымянном, когда достаем сигарету из пачки, вторую – на большом, когда чиркаешь зажигалкой. Забудешься, схватишь ручку двери неосторожно – и по всем соединениям фаланг идут разрывы.

И эта кровь, повсеместно кровь: на полотенце, на чашке, на клавиатуре, каждый раз, когда набираешь текст. И вот тут лучше не останавливаться – пусть потихоньку сочится, все равно не так неприятно, как если пару часов ничего не делать и ранки начинают закрываться, а потом расходятся вновь. В любом случае к вечеру лопается кожа во всех складках, а их на пальцах гораздо больше, чем можно подумать, пока не знаешь об экземе.

Сама болезнь меня мало волновала – я знал, что от трех недель до трех месяцев уйдет на то, чтобы ее купировать, а до той поры придется носить белые хлопчатобумажные перчатки и отказываться здороваться за руку. Скука. Меня нервировала лишь скоротечность этой гадости. Раньше цикл от первой трещинки до состояния ссохнувшейся на солнцепеке глины длился неделю-две. В этот раз все произошло всего за два дня.

Пришел в НИИ дерматологии, зная наперед, что врач опять пропишет мазь с карбамидом и что-нибудь с кортизолом. Может быть, с лошадиной дозой кортизола. Скажет, что нельзя пить, а жрать можно только яблоки, кефир и каши. Наверное, опять отправит на биопсию – и лаборанты будут неделю мариновать кусочек Штапича, отрез с ладони, в какой-нибудь банке, чтобы и в третий раз выдать то же самое: «Экзема, этиология неясна».

Старенький доктор выслушал меня, осмотрел руки и обеспокоенно спросил:

– Что могло за пару дней такое дать? Наркотики? Алкоголь?

– Да нет. Обычно у меня кто-нибудь умирает – и это вылезает. Первый раз – брат, потом бабушка.

Врач оторвал взгляд от рук и посмотрел мне в глаза:

– Любопытно. А сейчас снова кто-то умер?

– Нет.

– Впервые такое вижу. Всего за два дня. Получается, у вас стресс обычно запускает болезнь. Так что же такого с вами произошло?

Можно было бы ждать удара по яйцам во время визита к венерологу, наркологу, психиатру – тем врачам, которые, скорее всего, и должны были меня приговорить. Во всяком случае, я настойчиво пытался себя укокошить именно по этим фронтам, а никак не через кожу. Но ирония такова – именно у дерматолога я понял то, чего не понимал до того момента и что произнес сам себе как диагноз:

– Видимо, я влюбился.

– Вот уж верно говорят, что любовь сильнее смерти, – улыбнулся старичок. – Ничего, мазь с карбамидом выпишем, пятипроцентную. И крем в нашей аптеке купите с кортизолом, это такой гормон...

– Знаю.

- И диета. Пить лучше воду или кефир, кофе и алкоголь исключить...
- Ага.
- И вы знаете, хорошо бы сделать биопсию.

Ни идеальный рот Милы, ни слегка выдающаяся нижняя губа, ни ее глаза (то голубые, то зеленые), ни копна дредов, связанных в пучок на макушке, ни ее неповторимая звериная грация (красивее двигаются только крупные кошачьи), ни маленькие мягкие ладони, ни теплый бархат кожи, ни манера носить мешковатую одежду, скрывающую страстное сильное тело, ни ее готовность к любым приключениям, – ничто, ничто из сотни черточек, качеств, родинок, запахов, вкусов, морщинок, впадинок и текстур, в которые я влюбился, не могло запустить уродливое разрушение рук.

Впрочем, влюбленность и экзему объединяет «неясная этиология». Размышляя об этом, набрал с три тысячи знаков какого-то идиотского закадра про нелепые смерти, записал тайм-коды. Тексты для нашинкованных сетевых видео, которые приправлялись фальшиво возбужденным голосом диктора и показывались по телеку, были моим основным источником дохода. Никогда не вникал в их суть: подборки автоаварий, нарядов звезд, лучших домов из говна и палок – это было вне моего мира; рутинная и отупляющая работа у конвейера, которая приносила столько денег, что хватало только отдать алименты, да еще прокормить и кое-как одеть себя.

Никогда не вникал, но тут меня заинтересовал один кровавый и глупый сюжет, достойный театральной постановки. Два забулдыги, никчемных маргинала, после распития какого-то сногшибательного количества алкоголя, поспорили между собой о том, кто из них сумеет отсечь человеческую голову с одного удара топором. Поскольку иных людей рядом не было, первым к снаряду подошел один из них и решительно уложил на импровизированную плаху – толстый пень – свою, не отягощенную анализом ситуации, голову. Второй взялся за топор и нанес роковой удар. В споре он проиграл: у него вышло перерубить лишь половину шеи собутельника, – и, глядя, как из яремной вены хлещет кровь, он попытался что-то предпринять, но что и как, доподлинно неизвестно; известно лишь, что спасением он занимался весьма активно – так, что к приезду медиков был облит кровью с ног до головы и задумчиво допивал самогон, вероятно размышляя, должен ли он теперь отдавать долг за проигранное пари и если должен, то кому. Произошло все это в деревне со сказочным названием Кудымово.

Вот таким дерьмом я зарабатывал на жизнь, все свободное время уделяя сценарию, который надеялся вскоре продать и наконец вырваться из пропасти, уложенной в цепочку «работа-работа-зарплата-усмешка-виселица». Но с тех пор, как я встретил Милу, писать можно было только о том, как тоненькая лямочка ее домашнего платяща спадает с плеча, и это начало, только начало священнодействия бесконечной ласки и нежности, сладости и величия, которые чувствует все мое тело, все мое существо, стремящееся к ней, желающее обнять ее всю, взять ее всю и сразу, погрузиться в нее, утонуть в ней, погибнуть и презреть все сущее, потому что его нет, оно – пустота пустот, оно и на миллионную долю не так счастливо, как я, мы, и потому его нет, а есть лишь любовь, лишенная глагола, есть она, Мила, божество, и этого достаточно, и вечно мало, и это длится не минуту, не час, не страницу, не сто страниц, это – вечность и небытие, это все, чем можно и должно обладать – ею, любовью, и немножко еще – тихим воздухом прохладной спальни, и можно отдать все, что имеешь, только за то, чтобы ее руки немели, и благодарно смотрели бы ее глаза, и плавно бы закрывались веки, и руки ее, чуть погода, набрав тепла, тянулись бы прижать меня к себе.

От таких мыслей возбуждаешься, но как снять напряжение? Если решишь спустить... о нет, даже и пробовать делать это с экземой – пытка. Нельзя получить удовольствие или хотя бы разрядку, когда испытываешь смесь режущей и саднящей боли, когда чешется не кожа, а нечто под кожей, когда пот разъедает плоть.

Потому, намазав пальцы и ладони кремом, я строчил как угорелый, чтобы сделать недельный план по фаршу из видео за три дня и посвятить остаток рабочей недели Миле, которую тщетно пытался не вспоминать, пока работал. К вечеру клавиши «а», «о», «н», «е», «и», «,» были самыми липкими от крови, крема и жидкости из волдырей. Как будто весь день я печатал одно: «и не она и она, и она и не она». Мое маленькое злое сердце предвкушало ее появление – и сжималось от ужаса ровно оттого же. Она или не она? Она или не она?

* * *

Она. Иного и не было предусмотрено.

Лучшая из бесед – из бара на прогулку, потом в постель, разговор перетекает в завтрак (о, Мила обладает редчайшим даром – способна соорудить из растворимого кофе шедевр), переходит в переписку по телефону, перемежающуюся ссылками на любимые треки, эти треки звучат в ушах на пробежке и смолкают, чтоб услышать ее голос, который растворяется уже во сне, где снова она, и будильник с уже «нашей» песней, на которой мы сошлись, сами того друг от друга не ожидая, – «Где спит твое сердце» «Billy's Band», и первый звонок по громкой, пока оба чистим зубы, разговор как способ быть рядом, и на третий день, когда я ухожу от нее за полночь, сообщение от меня ей: «Я не хочу уезжать», и ответ: «Тебя никто не гнал», и дальше все перерастает в шуточку – «нет, нет, я не живу у тебя, я просто не могу уйти».

Не могу уйти – хочу сидеть у нее в ногах, бесконечно болтать с ней и упиваться умилением от того, что она есть. «Ты плачешь?» – ее это поражает, ее поражает то, что, глядя на нее, можно тихо плакать, но иначе и невозможно – ведь она есть, и так трудно сказать «люблю», ведь вырывается только «пожалуйста, не уходи от меня», и продолжается этот разговор, наполненный ею.

...Подарила «Маленького принца» – любимую свою книгу; читал, и проникся, и сжился.

* * *

За пару дней до начала экземы Мила должна была выйти на связь.

Дело в том, что Мила потерялась в горах. Беспощадная ирония – девушка, в которую влюбился именно бывший волонтер поискового отряда, пропала в горах.

Верней, это я так полагал: пропала. В первый день я держался, старался отвлечься от мысли, что Мила и ее группа заблудились, и наблюдал за маленькими разрывами, возникающими на коже, еще не сильно беспокоясь. Все-таки там были шесть человек, и, с точки зрения статистики, не так-то велика вероятность, что они могут попасть в настоящую беду. Потому я отвлекался от худших предположений.

Правда, отвлекался я по-своему: дозвонился спасателям в Абхазию, добрался до какого-то замминистра, выяснил, что эта туристическая группа нигде не зарегистрирована, забронировал билет в Сочи, собрал рюкзак, дозвонился до Краснодарского отделения поискового отряда и узнал у них, сколько людей можно будет собрать на поиск. Решил, исходя из знаний об их маршруте и погоде (снегопад на высоте), что в Сочи надо лететь не раньше утра третьего дня. Все эти действия базировались на опыте и совершались холодно, почти автоматически; но внутри меня уже разрывала истерическая паника, а снаружи я натурально трещал по швам.

Память, подстегнутая паранойей, начала выкладывать картинку из осколков воспоминаний о том, что прежде казалось незначительным: окружение Милы. Например, я не обращал особого внимания на то, что к ней внезапно мог прийти какой-нибудь человек, которому нужна была палатка/куртка/лыжи/еда/десять тысяч в долг, и Мила, имея ангельский характер, не отказывала никому и никогда.

Она постоянно устраивала посиделки у себя на даче – с баней, костром, песнями под гитару. Но я, изначально ревнуя к толпе, то есть к двадцати людям сразу, не особенно задумывался, кто же они такие. А теперь, подпаливая пух на перчатках, отчего перед каждой нервной затяжкой мне приходилось вдыхать дым горящего хлопка, я внезапно понял простую вещь – именно таких людей мне и приходилось четыре года искать.

Добрая половина из них попросту не имела определенных занятий, несмотря на возраст – от двадцати пяти до тридцати. Другая половина занятия имела, правда, презентовали они себя «свободными художниками», как это понимают у нас в стране: есть некая деятельность, вроде фотографии или съемок видео, но само качество работ таково, что назвать человека фотографом или оператором не повернется язык, и потому обычно к профессии прибавляют прилагательное, в качестве ограничения – «свадебный фотограф» или «кабацкий певец», а порой придумывают отдельное словцо, которое черт его знает, что значит, кроме того, что руки приставлены не к плечам: «видеограф», например. Впрочем, кое у кого все-таки была вполне сносная работа, но и от тех не пахло ничем, кроме Грушинского фестиваля и желания повыть где-нибудь на полянке незамысловатую песенку.

Ни в ком из них не было задора, огня и ярости, страсти и злости, нормальной тяги к саморазрушению и битве – мифа о себе никто не нес. Никто в детстве не выигрывал соревнования хоть по чему-нибудь; в их компании даже не было хотя бы подобия заводилов, бесшабашного и громкого, неугомонного и сильного; все были одинаково унылы и могли часами тупить в кроны деревьев, поместив жопы в гамаки, телами слившись ритмически с жизнью огурцов. Нетрудно догадаться, что почти все – и мальчики, и девочки – были безотцовщинами. Позже, присмотревшись к ним, я не мог понять, как же они составляют пары друг с другом. Период ухаживания у них может длиться бесконечно; чтобы сказать понравившейся девочке хоть два слова о чувствах, уходят месяцы; не уверен, что у них вообще бывает то, что обычно случается между мужчиной и женщиной в кровати, потому что и для того нужно известное количество страсти.

Надо было прислушаться к их судьбам, к их историям. Вот одна, пожелавшая поменять жизнь, отправилась в Сибирь зимой участвовать в каком-то диковинном «проекте», представлявшем собой что-то среднее между сектой и борделем: два десятка людей строят дом, доят коз, пекут хлеб и пытаются найти свою любовь, отчего-то именно там, на тропинке между хлебом и избой. Разумеется, вся эта затея превратилась в борьбу за выживание, где все хотели отыскать еду, а не любовь, и самые умные удрали с «проекта» автостопом. По возвращении, так и не найдя суженого, девица определила себя в сторонники однополрой любви. Впрочем, зажила счастливо, так что «проект» ей вроде как даже и помог. Вот другие – пара, которая развелась, но оба, помыкавшись по чужим холодным постелям, уразумели, что их постель была не холодней и не теплей, и через полгода сошлись обратно, и снова женились, и ссорились молча, прожигая друг друга глазами; верно, оттого и были вместе, что знали друг друга вдоль и поперек – и потому им было удобно ругаться (тоже, впрочем, незэнергично, бесстрастно и как бы жалея сил на ссоры). Вот еще один – человек, отличительной чертой которого является растительность на лице, у него даже кличка в честь роскошных усов; однако, кроме усов и мягкой детской улыбки, он ничем не приметен – никто и никогда не сумеет вспомнить, о чем он говорил, потому что он все больше глупо улыбается да покручивает усы, и может статься, что он и мудр, но почему-то занят компьютерными играми и ничем более.

Стоило прислушаться и к их словарю: «ретрит», «ресурс», «йога», «медитация», «вайб» – этакая погань сразу обнаруживает отсутствие жизнеспособности, оторванность от происходящего вокруг.

Но как-то я пропускал все мимо ушей, а когда припомнил, сопоставил и ужаснулся, Мила уже была где-то в горах, в компании минимально способных к выживанию гитаристов всех мастей, которые, я был уверен, не сумели бы догадаться взять с собой теплые носки на това-

рища. У них в головах скорее вертелись мысли о перекладывании Стинга на укулеле, чем резонные вопросы: как зарегистрировать группу и кто несет пакет для оказания первой доврачебной помощи. Впрочем, это логично – ретрит не предполагает попадания в ад на земле.

Это были типичные бестолковые москвичи, то есть самые опасные люди страны, взрослые только по паспорту, инфантильные внутри; именно они и пропадают чаще других.

Расчесывая экзему, я вспомнил, как Мила недоумевала, почему на их вечеринках я не включаюсь в разговоры и даже ухожу куда-нибудь в сторону. Однажды, когда мы обсуждали взгляды на идеальные отношения между мужчиной и женщиной, она спросила: «Будешь мне другом?» Интуитивно припоминая жопы в гамаках и дрянную игру на гитаре, не осознавая тогда еще, почему это унылое болото от меня бесконечно далеко, я ответил: «Конечно, нет, я – твой мужчина».

* * *

Мила вышла на связь через сутки после положенного срока.

Группа заблудилась, перепутав отроги, попала в снежную бурю, отыскиала какой-то приют.

Масштабы их непредусмотрительности и самонадеянности оказались серьезнее того, что я, даже в злобном исступлении, мог себе представить. «Гуляльщики по горам» – так следовало бы прозвать этот коллектив – не обзавелись:

- 1) картой или навигатором ни в каком виде (при этом никто из них не был в той местности ни разу);
- 2) неприкосновенным запасом (и сомневаюсь, что они поняли бы, о чем речь);
- 3) никакой радиостанцией;
- 4) ни одним надежным фонарем.

Разумеется, и снег на высоте более тысячи четырехсот метров в конце октября стал для них неожиданностью. В итоге участники ретрита два дня жрали лебеду (то есть даже если бы они шли ровно по плану, они бы остались без еды за сутки до выхода). Слава богу, они догадались сократить маршрут, спустились вдоль реки и набрали на какую-то лесную дорогу, откуда их забрал проезжавший мимо лесовоз.

Представить мое бешенство можно, только если знать мое отношение к безопасности: даже когда я пьян в самом дрянном изводе, то есть в дугаря, в хламину, в зюю, в сопли, в шапито, и это все сразу, и когда могу только ползти на карачках, я все равно ползу на зеленый свет, и мне никогда не случалось ползти на красный. Отмечу также, что ползаю я изумительно быстро.

Мила через треск неустойчивой связи сказала, что уже сидит на берегу моря, скучает, и в голосе чувствовалось такое искреннее желание оказаться рядом со мной, что я не удержался и произнес то, что нельзя впервые говорить по телефону:

– Мил Мил, я люблю тебя.

Ответа не последовало: связь прервалась.

* * *

Не она.

Порой Мила в себе, и разговор стихает; ей надо молчать, просто молчать, и в это время она холодна, и нет тяжелее муки, чем эта, – я живу только внутри нашего диалога, а она все молчит, и так может продолжаться дней пять кряду. К пятому дню у меня съезжает крыша. Она

не отказывает в любви, она не против прогулки, она за кино, она с удовольствием отправится куда угодно, но молчит. «Просто настроение такое».

Чтобы нырнуть в ее объятия, я снял свой крепчайший литой доспех, свой кевлар цинизма и отрешенности, я сразу и весь – к ее ногам; а она молчит, потому что ей так удобно и так хочется; но нет, со мной нельзя молчать, я же глохну.

Чтобы вызвать – не полноценную речь, а хотя бы восклицание, хотя бы писк, нужен либо страх, либо восторг, и, понятно, надо действовать вторым, чтоб она не сделалась зайкой в нашем разговоре. Цветы, она не любит цветы. Это все из «Маленького принца»? Зачем она его подарила в минуту тишины? Намек, что это я, что ли, та роза, а она – то блуждающее и ищущее одиночество? Не на того напала: я – не роза, я – полярный мак, я продержусь там, где ни одна сволочь не прорастет! Я знаю цветы, я люблю цветы, я рос среди флоксов и маргариток, календулы и васильков, я любовался первыми нарциссами на черной земле огородной грядки в мае, а первого сентября в букете были все пять видов астры, и я решил собирать для нее букеты сам, чтобы ценность была во всем, хоть бы и труде, и, хоть я до нее букетов не собирал, я выучился, это недолго, и я сразу нашел, что ее цветок – фрезия, так легло; я собираю букеты и несу один за другим, я собираю букеты, и флористы в магазине здороваются со мной по имени, я собираю букеты, и Мила повержена, «что-то давно не было цветов» – так прерывается молчание.

Я справлюсь, впереди тебя, Мила, ждет история, ты еще получишь сполна, ты еще увидишь, как мстительна моя любовь, как она злопамятна и щедра, и любой момент, когда уголки твоих губ опускаются вниз – встраивается в память, он будет отыгран и отбит, ты не уйдешь, уголки рано или поздно станут опускаться вниз только из-за меня, это я имею право порождать твое молчание, твое недовольство, и ничто больше. Эта «не она» больше, чем «она».

Она, она.

Нежность – это повтор. Зову ее – Мил Мил.

«Мил Мил, посмотри, я нас на карту нанес». Каждая прогулка, точка встречи, мимолетное, неуловимое, смешное, – все наше важное уточнено и привязано в сетевом сервисе; география бытия необходима. Я старался не гулять с Милой там, где со мной случалось что-то неприятное, стыдное, где координаты приколоты к ошибкам и глупости. Но как избежать всех этих мест, если беспутно шарахался по городу десять лет и был в этом неутомим? Пришлось пересекать векторы ужасного и прекрасного между собою, и тут открылось неожиданно, что прошлого не существует: улицы появлялись на карте только тогда, когда мы по ним впервые проходили. Вся карта стала белой, и закрашивались только те участки, которые стали «нашими»; мы позволили Москве быть; до нас города не было, ни одного посетителя кафе не существовало, ни единой станции метро. Мы подарили Москве Чистые пруды, Мясницкую, переулки Китайгорода и Солянку, подарили Бронные и Спиридоновку, Кузнецкий мост; подарили через красные линии, отметки и комментарии к карте: «первый поцелуй», «водку будешь?», «бери перчатки», «украла стаканы в баре вместе с коктейлями», «уснула в Парке Горького», «тяжело бежать, ты на велике быстрее», «объелась шоколадом», «лучшее место, чтобы погибнуть во время любви». Москва возникла из небытия и раскрыла объятия.

Если «она» – зачем «и», зачем «не»? Зачем ей куда-то без меня отправляться? Как можно в одиночку закрасить пятно на карте?..

* * *

«Люблю», – произнесла Мила, как только открыла дверь. «Люблю» – и запах костра от рюкзака в коридоре ударил в ноздри. «Люблю» – и Мила, укутанная в полотенце, еще мокрая – выбежала открывать из душа, – «люблю» – и полотенце упало на пол. Ее «люблю» – навек – смесь застарело-копченого древесного дыма и свежести мятного шампуня.

Я ликовал. Она – любит, она – рядом, можно сесть к ней в ноги и продолжить бесконечный разговор.

Разбирая рюкзак, она говорила по телефону. Обсуждала новую поездку – через пару месяцев в Грузию.

– Поехали с нами?

– Мил, это, получается, на Новый год? – постарался произнести спокойным голосом.

– Да! Хинкали, каталка, вино!

Сердце совершило кульбит. Какое вино?! Едва наскребал на цветы и прочую мишуру вроде походов в бар и на концерты. Да и загранпаспорта у меня отродясь не было.

– Не смогу, Мил. Загрانا нет.

– Жалко!

Жалко? И все? Сказала «люблю» и удерешь на Новый год? Что это вообще такое?

– Мы давно с ребятами договаривались. Ты не обижаешься?

Нет, я не обижаюсь. Я в ярости.

– А загран надо сделать, – внимательно посмотрела, прощупала что-то и развеселилась, – как же я люблю твоё лицо, лицо убийцы.

Понятно, ты же не откажешься от путешествий. Но ты правда думаешь, что будешь ездить всюду со своими оболтусами, которые угробят себя и тебя рано или поздно? Ну уж нет.

– Давай составим план путешествий? Куда мы хотим на ближайший год? – бодро, уверенно и легко, тоном человека, который привык планировать все шаги далеко вперед, предложил я.

Миле идея показалась забавной, и список был готов уже через полчаса. Мы оба с радостью вписали Санкт-Петербург, Калининград, Байкал и Венецию. С ее стороны в каталог пожаловали Барселона и Лиссабон, также она – «или катаемся вместе, или я сама» – настояла на появлении любого горнолыжного курорта, который можно определить позже. «Моим» стал Белград – тут Мила не возражала, понимая, как мне охота в Сербию. Я настойчиво предлагал включить Париж – раздухарился и готов был на все ради поездки в город кальявдоса и Тургенева, Лимонова и красного вина; я уже представлял, как сажусь в электричку до Буживаля (не будучи убежденным, что такая электричка есть), но Париж был отвергнут Милой; в этом мне сразу почудилось нехорошее предзнаменование, но это я снес и в отместку добавил в список Бильбао, Мадрид (все равно по дороге из Барсы в Лиссабон) и Пальму-де-Мальорку. Последнее внес скорее Шуфутинский, чем я, и, таким образом, он стал единственным, кто, кроме нас, сумел приложить не руку даже, а песню к списку.

Проблем с голубыми мечтами было всего две. Первая – загранпаспорт, ясно. Но это – проблема меньшая, решаемая, ведь я уже легко представлял электричку до Буживаля, а представить паспорт куда проще. А вот большая, серьезная проблема проявилась в табличке, куда я кропотливо вписал приблизительную стоимость отелей, виз, перелетов и иных расходов в путешествии по всем выбранным нами местам.

814 000 рублей. Восемьсот четырнадцать тысяч рублей минимум.

Чуть меньше того, что я зарабатывал за год. Если прибавить 10 % на непредвиденные расходы, выходило уже почти вровень с доходом. Учитывая мои алименты, обычные траты в месяц, необходимость заботиться о Миле еще и помимо путешествий, и все прочее, прочее, нанизывающееся, как чеки в старину – на спицу, выходило, что, за вычетом налогов, мне нужно около двух миллионов, или 165–170 тысяч в месяц.

Таких денег я не зарабатывал никогда. Тем не менее я легко про себя определил, что или сделаю это – или не появятся никакие «мы». А мне нужны были только «мы», я больше не мог быть «я», и никакие другие «мы» для Милы тоже не допускались.

Я прилепился – и желал прилепить ее.

2. Как я стал пярщиком

«Родная» – я сразу принялся ее так называть, хоть это и фамильярно – так обращаться к божеству.

Кажется, она полюбила то, как я умею любить. А я до нее и не знал, что вообще умею. Но это ведь неизбежно – если ты встречаешь не человека даже, а нечто, что больше тебя, лучше тебя, если ты всегда в душе осязал его и не мог до него дотянуться, а тут – въявь, да так, что можно потрогать, хоть и нельзя объять. У тебя нет выбора: ты влюбляешься, и задача одна – быть рядом, чего бы это ни стоило; присвоить, даже если цена тому – твоя жизнь. И все слова распадаются до морфем – настолько сложно об этом говорить; только взаимность божества собирает их обратно в новом, доселе неведомом порядке; только любовь создает текст о себе. Она полюбила то, как я умею любить, а я сумел полюбить только оттого, что она – божество. И ты узнаешь себя наконец в способности преклониться: как в единственном, для чего ты, убогий, и создан. Но, как только колени твои касаются пола храма, где возвышается твой идол, ты понимаешь, что никого другого в этом храме быть не должно, потому что весь этот храм ужат до тебя, и ты его и воздвиг. В храме любви раб хорош только тогда, когда раб в нем – единственный хозяин.

«Родная», – неловко-восторженно говорил я ей. «Родная, пойдем заниматься танго?» – предлагал я, чтобы хоть как-то воплотить то, что я чувствую, кроме как в постели, потому что, когда любишь, постели ничтожно мало, поцелуй неощутим сразу после отрыва от губ, нельзя все время пребывать в умопомрачительной возне в простынях или в объятиях – при встрече ли, во сне ли, полуслучайно, – все это кусочки и секунды, все это – не плоть любви, не рисунок разговора, а отдельные восклицания.

В Москве на курсах танго не хватает мужчин. Поэтому для женщин условие простое: привести с собой партнера. Бухгалтерши уважаемых контор и прочие офисные дамы за тридцать ищут кого-нибудь – коллегу, друга, соседа, кто мог бы составить им пару. Как правило, не находят. Поэтому основная часть учеников – влюбленные или спасающие отношения пары, которые с первого же занятия, надо полагать, как и мы, задаются вопросом: отчего каждые три минуты надо обмениваться партнерами?

«Не смотреть в глаза, мужчина ведет грудью», – твердят двухголосием преподаватели, мужчина и женщина, которые, видно, устали спать друг с другом, но танцы – их дело и прокорм, и тут приходится оставаться партнерами. Дюжина пар в носках топчется по залу. Уже в середине первого занятия я, ведущий какую-то сорокалетнюю сухую даму, слышу преподавателя-мужчину: «Идеальная партнерша!» Это – о Миле, как же иначе. Преподавательница, сомневаясь в Миле (а может, и ревнуя), отнимает ее у своего коллеги, ведет, будто бы она мужчина, и через полминуты восклицает: «Идеальная партнерша!» Продолжаю наступать на ноги сорокалетней, отрываю взгляд от Милы в руках преподавательницы и принимаюсь рассматривать странную косметическую припарку на шелушащейся коже лица моей вedomой. Играет «Кумпрасита». «Отлично!» – пробуя новый для Милы шаг, кричит с восторгом преподавательница. В эту же секунду преподаватель оказывается рядом со мной: «Не смотреть в глаза!» – полурывкает-полуцедит он тоном армейского прапора, хоть я и не смотрел «в» глаза: я разглядывал морщины, составляющие веко.

В Москве на курсах танго не хватает мужчин. Я стал тем мужчиной, от которого курсы откажутся, даже если я буду последним мужчиной в городе.

Я вышагивал под «Либертанго», «Танго де Роксан», «Эль Чокло», под финские и аргентинские мелодии, под аккордеон и скрипку, – с подушкой по комнате; я шагал и шагал, пока «идеальная партнерша» сидела за компьютером и без всякой тренировки продвигалась с каждым занятием куда-то в поднебесные выси. Преподаватели по очереди показывали мне, что

же такое танго, в углу, как отстающему. Они были молодцами и глядели сочувственно, так школьные учителя смотрят на тех, кому надо в класс коррекции, но спецшколы рядом с домом нет, и все это понимают, и ребенка надо как-то тянуть, хоть он и жует козявки, не может раскрыть скобки в квадратном уравнении и портит статистику образцового класса. Но пусть я был из «тупых» детей, зато с твердым характером, и только закалялся: «А медиа луз» и «Пор уна кабеза» входили в мою кровь, я топтался дома с подушкой, мне казалось, что подушка уже чувствует малейшее движение моей груди и идет туда, куда я подумал, только потому что я так подумал. Мы с подушкой могли выиграть чемпионат мира по танго, так считал не только я, но и она, моя нежная, набитая гусиным пухом, подруга. Но как только я расставался с ней и мы с Милой разувались в подвале на Чистых, – я снова слышал: «Идеальная партнерша» и – еще до начала музыки – «Штапич, давайте-ка сюда, сейчас покажу» – опять хором.

Пока преподаватели показывали мне, какой я балбес и неумеа, прочие партнеры менялись между собой. Все хотели танцевать с Милой. Все смотрели на нее как на чудо. Главный «отличник» курсов вел Милу с особенным, нескрываемым удовольствием, осмеливался на сложный шаг. Он любовался собой – и любовался тем, как хороша моя Мила рядом с ним. В это время я, сопя, топтался на ногах его квелой дохлой бабы с впалой грудью. «Ну, сука, я тебя застрелю», – думал я. И, кстати, всенепременно застрелил бы, встретиться он мне в момент, когда я оказался бы с пистолетом в руках да без свидетелей. Бог создал нас хорошими и плохими танцорами, но полковник Кольт давно уравнил наши шансы. Я кладу довольно кучно и быстро, я мягко жму на крючок, стреляю я куда лучше, чем шагаю, и каждому зазнайке с «пятеркой» по танго следует об этом знать.

В то время как я мысленно вынимаю пистолет из кобуры, преподаватели бьются над тем, чтобы моя грудь указывала путь партнерше. И вот, когда я, кажется, настолько отвлекся от самого танца, что он начал получаться, меня пускают в общий круг, и я тут же попадаю на Милу. И, конечно же, сразу наступаю ей на ногу. Идеальная партнерша чувствует всех и каждого в этом сраном подвале, всех и каждого, но не меня. Я здесь один такой, неспособный вести идеальную партнершу. В глазах моих туман. В глазах учителей – трудно скрываемое желание оттащить меня от несчастных женщин, которых я – одну за другой – мучаю.

Идеальная партнерша на все случаи жизни и бездарь-недоделок – мы бились полтора месяца, и я бился не на жизнь, а на то, что она сможет, страстно выгнув спину, закинуть икру за мое колено летним вечером в саду какой-нибудь ресторации Барселоны (отчего-то казалось, что в Испании отовсюду звучит танго). Но нет. Идеальная партнерша однажды спросила:

– Абонемент у нас – на десять занятий? Мы же их уже отходили?

– Ну да. Я оплачу следующие, – ответил я, как раз обдумывая, где раздобыть двадцать тысяч на это.

– Давай прекратим. Мне не нравится.

Я молил, чтоб мы продолжили. Ненавижу проигрывать. Но Мила уперлась. Мне показалось – не желала видеть мое самобичевание танцем. Я настаивал. «Хочешь – ходи сам». Но, конечно, в одиночку проходить эти унижения мне уже было не под силу. Я отказался.

Мила слишком хороша даже для танго. Она слишком хороша там, где я не прошел естественный отбор.

Мы с подушкой еще какое-то время не оставляли надежд – и танцевали под «Агонию» Шнитке. Но на то она и агония – чтоб потрепыхаться и застыть.

* * *

Голым в Москве работу получить куда проще, чем одетым.

Когда сидишь в пиджаке, причесанный, несешь какую-нибудь тривиальную мутотень про то, почему ушел из предыдущей компании, – приходится врать и изворачиваться. Например,

вместо «курил анашу в туалете, поймали, предложили», или «по собственному желанию», или «по статье» ты должен нудить про то, что «достиг потолка». (О потолке обычно говорят те, кто опустился на дно.) Как только собеседник спрашивает «кем вы себя видите через пять лет», хочется ебнуть ему, уронить под стол и, надавив ногой на грудь, напомнить о том, что он видит через пять лет себя тем же, выплачивающим ипотеку деньгами, которые он получает за идиотские вопросы, а я вот не могу ответить так же по-идиотски, меня тогда не возьмут.

Меня хватило на одно собеседование, которое я покинул до его окончания. Да и работа у меня была; мне нужна была подработка, дополнительный заработок размером в такую же зарплату. За этим я отправился в «Сандуны».

(Вот уж где про пять лет даже спрашивать не будут – и так понятно, что каждый второй четверг я там, приблизительно в одно и то же время, и ничто меня с этого не сдвинет, и через пять лет я вижу себя здесь же.)

О, этот пар!.. Благословение небес спущено на лучший город земли в двухэтажную, невестную парную, и всякий пришедший купается в пару, нежится и избавляется от шелухи повседневных забот да накопленного зла, всякий наг и прекрасен, всякий обнажен и обогрет. Здесь все – братья, и оттого тут так хорошо и уютно; здесь соблюдается банный дух, здесь не принято повышать голос и быть пьяным, здесь принято уважать других, и не только потому, что в соседней кабинке может сидеть кто влиятельный, просто таков уклад «Сандунов», самого демократического и спокойного места столицы.

Разморенными, расслабленными людьми здесь ведутся разные разговоры: каким методом лучше выкачать жир из живота и какую новую косметологию «только для мужчин», с секретным входом под вывеской сигарного клуба, открыли в подвале на Кутузовском, на какую выставку сводить молоденькую любовницу-искусствоведа, какие таблетки лучше принимать вместо известных синеньких, когда ждать перемены замминистра в Минпромторге, как бы закупить подшипников в Китае и выдать их за российские при продаже на АвтоВаз. Здесь заключаются госконтракты, оговариваются откаты и планируются распилы, и это не редкость; «Сандуны» нынче могли бы даже зваться модными словечками «платформа» или «акселератор» – в том смысле, что и здесь тоже как разворачиваются, так и зарабатываются деньги. Дух старой купеческой Москвы смешался с духом бандитских девяностых, жирных нулевых и равнодушных десятых годов – и оказалось, что этот дух един, и люди – те же.

На входе в первый разряд любой гость, пришедший сюда впервые, непременно остановится – взгляд его будет прикован к портретам знаменитостей; на паре стен здесь собран весь мир в лицах – от Брюса Уиллиса и Жерара Депардье до Далай Ламы. Да, в этих банях бывали все значительные люди, которым случалось оказаться в Москве; если вы бывали в Москве и вас не отвели в «Сандуны», есть повод думать, что вы в глазах принимающей стороны – лицо незначительное.

Серьезные местные приходят сюда по утрам, когда гостей не бывает. Моя обычная компания в то время: еврей, которому принадлежало пол-улицы в центре Москвы (он обычно был вместе с внуком-подростком и раздраженно жаловался на то, что перегороденные из-за укладки плитки на улице помещения первых этажей не приносят дохода, потому что арендаторы посезжали), парень, который за толику малую строил фермы для выработки криптовалют (ему было интересно одно – где украсть еще электричества), самый крупный добытчик мамонтовой кости в России (бизнес его отлично рос из-за оттайки мерзлот и все чаще обнажавшихся из ледовых и лессовых слоев бивней) и мышан, то бишь высокооплачиваемый носитель папок под мышкой из кабинета на совещание, с круглого стола в торгово-промышленную палату и обратно, трудившийся в администрации самого бессрочного из демократически избранных (этот разговаривал только о сексе и все время норовил показать обнаженных восточных девушек, которые присылали ему фото своих прелестей; ему постоянно напоминали, что показывать обнаженных дев в бане – дело не совсем верное, но, придя в следующий

раз, он опять тянулся к телефону). Меня в эту компанию привел торговец бивнем, Семён, знакомый мне уже лет пять как.

Однажды мы вместе побывали в небольшом приключении – наш товарищ по морскому походу, в почтенном уже возрасте человек, схватил инфаркт на арктическом острове, и Семён его оттуда вытаскивал – сначала на корабль, потом на Большую землю на вертушке погранцов. Я же просто провел с пострадавшим пару ночей в судовом медпункте в качестве наблюдателя, надо было дать единственному доктору отоспаться. Семён это крепко запомнил, и с тех пор мы подружились.

Конечно, я никогда ни о чем не просил его; иногда Семён звал меня в ресторан, к его знакомым, или обсудить дела тет-а-тет и посоветоваться. С наскаку озвучивать проблемы с нехваткой денег было нельзя, и я, соблюдая приличия и позабыв о том, что с экземой в баню противопоказано, зашел в парную. Перчаток я снимать не стал, чем вызвал массу вопросов. Рассказал о болячке – ведь здесь принято напрямую объявлять о своих недугах, а после положено вежливо выслушать различные рецепты борьбы с болезнью. Спасти может всякое: банки, припарки, знахарь из Туапсе, полублаженный пастух из Осетии и, конечно, обильные свечи святой Матроне. Покуда я выслушивал все это, а также сопутствующие истории о волшебном грибе чаге, который избавил какого-то дядьку от простатита, кожа на руках разбухла, размягчилась, и на выходе я почувствовал прилив боли будто бы уже в самих костяшках. Унять невероятную резь удалось в кадке с ледяной водой, куда я сиганул и сидел, пока не стало холодно. И вот я в кабинке – продрогший проситель в простынке и мокрых перчатках.

– Слушай, мне неловко обращаться с просьбой, – начал я, когда остальные ушли в парную, – но мне нужна работа. Не у тебя, а что-нибудь по профилю.

Семён молча взял телефон, выдохнул через ноздри, чтобы я понял, что он сейчас задачу постарается решить, и, глядя в упор на меня, будто бы ко мне и обращаясь, сказал:

– Алло, Андрей. А тебе нужен еще человек? Да, о том. Понятно, что не по телефону. У моей проверить? Ладно. Тогда она посмотрит, и я его к тебе пришлю. Уверен. Давай. Давай, да, в ложу – в субботу, – проговорив это, Семён кинул телефон в сумку и наклонился ко мне: – Одному губеру нужен пиарщик.

– Какому?

– Вот тебе какая разница?

– А я потяну?

– Ты уж потяни. Но сначала – мне нужно точное время и место твоего рождения. Не как в паспорте, а точно!

– А разве людей на такие позиции не утверждают... сами руководители регионов?

– Тут не та ситуация. Губера вот-вот посадят.

– Теперь мне будет проще понять, о ком речь.

– Гугли, доходяга.

До того мне случалось уже слышать о натальных картах. В основном – от девушек со слабыми школьными аттестатами и ярким макияжем (отчего-то это часто сочетается). Натальная карта – это когда мошенник, который гадает по звездам, по твоему месту и времени рождения может определить все: от успеха брачного союза до того, стоит ли именно тебе брать алюминий в момент падения котировок на лондонской бирже. Вот и мой вопрос – урожден ли я пиарщиком подсудного губернатора – должна была решить такая гадалка-астролог.

К счастью, оказалось, что Марс или там Юпитер идут как раз по таким орбитам, что мне очень кстати будет именно сейчас отправиться в сибирский город, чтобы предпринять нечто во спасение бывшего уже губернатора. Этот поворот моей жизни правда был решен самой судьбой – ну а как еще можно назвать такое совпадение обстоятельств, когда сумасшедшая, решившая, что планеты с ней беседуют, дала соизволение от лица Венеры одному ревнивцу заработать на путешествия?

* * *

Тонконогая секретарша попросила меня достать телефон и прочую технику, если такая есть. Мой разбитый «BlackBerry» был отправлен в металлическую коробку наподобие клетки Фарадея.

– Что это у вас? – на всякий случай спросил я.

– Ящичек от ФСБ.

– Так я и подумал.

Итак, адвокат Андрей Николаевич Циркун. Как я понял позже, человек бодрый от собственной усталости. Его настолько заколебало объяснять разводящимся футболистам, что часть их состояния он все равно оттяпает в пользу супруг и детей, что он подзабросил прибыльную нишу семейных тяжб и ударился в уголовное право. Даже отучился где-то в Швейцарии, где познал права человека и нормы сутяжничества с государствами.

– Ты знаешь, что такое туннель сознания? – спросил Циркун, красиво разложив руки на столе.

Признаться, я ожидал необычного начала, но подготовиться к такому непросто.

– Это когда свет с обоих концов тоннеля, но идти бесполезно. Сколько ни иди – будет один люкс освещенности, как ночью, – разъяснил Андрей и стал выжидательно смотреть на меня.

Я подумал, что вся эта придурь мне порядком надоела. Осточертели полусумасшедшие, которые хотят, чтобы я что-то понял, что и понимать не надо. Достали те, кто дает мне задание писать закадровые тексты про людей, которые на спор рубят друг другу бошки топором. Я просто хочу купить билеты и побыть с любимой на солнышке или в горах, в разных пейзажах, и я только в самом начале пути, а меня все это уже так раздражает, что руки чешутся с двойной силой.

Чтобы не смотреть в глаза адвокату, я по привычке задрал голову и увидел – высоко за его спиной – картину, репродукцию Айвазовского. Волны с раскатистой, слоистой пеной на гребне, отблески то ли молний, то ли заката, то ли распадающегося на атомы солнца, буря, которая разрывает даже мрак.

– Всех успокаивает, – отметил мою реакцию Циркун и достал листочек А4. – Кофе будешь?

Листочек быстро покрылся кружками – в одном буква «Р», в другом – «М», между ними – «наш», тоже в кружочке, а над всеми ними, без кружочка, появился «Сам».

– Смотри. Этот, М., – раньше решал в администрации Самого. Он был в хороших с Нашим. Сам тоже с нашим был в замечательных, семь раз за два года виделись, никто так часто из губернов с Самим не встречается. А этот, Р., известный пидор, кстати говоря, попал в администрацию Самого после М...

Постепенно я въехал в речь Циркуна. Переводя со странно-скрытно-адвокатского на человеческий язык, историю можно было бы представить так: губер, бывший «красный» директор, пришедший руководить регионом, оказался человеком порядочным, и, что необычно для русского губернатора, – решительным. Он принялся отменять госзакупки на миллиарды, воевать с застройщиками и казнокрадами, и все сходило ему с рук, пока он не напоролся на влиятельную, по-настоящему влиятельную группу – владельцев крупного вещевого рынка. Губер покумекал с налоговиками, и вышло, что около двух миллиардов долларов, оборачиваемых на развале, фактически находится в тени. То есть с этой суммы никто не платил ни копейки налогов. Как уже было заведено, губер принялся за дело с открытым забралом, решил снести рынок и поставить на его месте крытый и легальный. Договариваться с бывшими бандитами, собственниками рынка, губер не стал – отказал даже во встречах. Но у владельцев нашлись

влиятельные покровители – в администрации Самого, как выражался Циркун. Снести губер было делом непростым – человек с идеальной репутацией, и, хоть верится в это с трудом, на него не было существенного компромата. Пришлось изобретать уголовные дела, но, к счастью, в Отечестве полно достойных умов, которые собаку на этом съели. Умы, точный состав которых неизвестен, прошерстили документы в поисках криминального следа безупречного губер и нашли. Фактура была такова – три года назад губер без аукциона отдал кусок земли застройщику. Пара гектаров в центре города с советских времен принадлежала психушке, ютившейся в гнилом двухэтажном деревянном бараке. Застройщик построил новую больницу, перевез больных и врачей и получил право на покупку земли. В представлении умов, преступное намерение губер состояло в том, чтобы нанести ущерб региону, не проведя торгов на землю. Нелепость состава преступления напрягала даже Р. из администрации Самого, который и должен был добиться снятия губер с должности и возбуждения дела. Р., поняв, что Сам может не дать делу хода, подгадал момент – и подсунул указ об «утрате доверия» в день, когда Сам был на пике радости – он только что вернул России кусок благодатной суши и пару миллионов душ в придачу. В такой день Сам предательства не стерпел. Поддавшись эмоциям, он подписал указ, подложенный Р.; остальное было делом техники. Теперь же губер находился под домашним арестом, и первое, чего хотели добиться адвокаты – смены меры пресечения на подписку о невыезде.

– Какая у меня задача? – спросил я у Циркуна, получив описанные вводные.

– Нам нужны новости. Суд настолько смешной, что достаточно рассказывать ровно то, что там происходит.

– Так. А с клиентом я могу встретиться?

– Не клиент, а доверитель. Только доверитель. И нет – не можешь. Сделай так, чтобы журналисты притопали в суд.

Тонконогая секретарша, взяв мой паспорт, купила мне билет на самолет. Циркун выдал аванс.

* * *

Миле я сказал, что уже не впервые оказываюсь в истории, будто порожденной воображением Виктора Олеговича Пелевина. Мила села перечитывать «Generation „П“». Я собирался в Шереметьево.

– Мил, вот кредитки с пин-кодами. Там немного, но, если что... активируй через комп кредит на миллион и отправь детям. Представь, адвокат сказал пользоваться только наличкой. Да. И никому не говори, где я и чем занят.

Мила оторвалась от книжки.

– Надо купить тебе нелепую шапочку. Чем нелепее шапочка, тем меньше вопросов к человеку.

Так у меня появилась серая шапка с надписью «LOL». Стало быть – клоун у пидорасов, не пидорас у клоунов.

3. Отрицательный ущерб

Если по какому-то уголовному делу не находится потерпевший, его назначает прокуратура. В случае губернатора пострадавшей стороной был назначен сам регион, представлять который доверили главной инспекторше налоговой службы. Эта строго одетая уставшая женщина пришла в суд, и в глазах ее был написан полувопрос-полуупрек: когда теперь работать, ведь работу никто не отменял, а полдня в суде – псу под хвост, да еще в конце декабря, когда надо отчитываться за все и вся?

– Как вы оцениваете масштаб ущерба, нанесенного действиями подсудимого региону? – наседает прокурор.

– ФНС не в силах оценить такой ущерб, если он имеется.

Люди в зале переглядываются, на губах Циркуна – ухмылка; губер – сухой, высокий мужчина лет пятидесяти – откидывается на спинку скамьи и, сцепив длинные красивые пальцы, кладет руки на стол, ровно как бы он на совещании спрашивал у нерадивого министра о том, почему работа не проделана.

– Согласно бла-бла-бла номера номера документы документы прокуратура направила вам уведомление с просьбой о проведении оценки ущерба! – пытается давить прокурор, но выходит плохо – необходимость бубнить номера документов выглядит комично и снижает градус необходимой угрозы в голосе.

– ФНС не смогла установить ущерб, так как мы можем проводить оценку только на основании средств, которые не получил бюджет региона. Но бюджет региона был исполнен в этой части, – твердо и спокойно отвечает инспекторша.

Прокурор свою миссию выполнил и, усадив свое железное, едва сдерживаемое формой тело, уткнулся в телефон с полнейшим безразличием. Настал черед Циркуна.

– Ирина Александровна... а известны ли вам, как опытному налоговому инспектору, способны нанести ущерб отменой аукциона на региональное имущество таким образом, чтобы вы не смогли этого увидеть при помощи имеющихся у вас средств контроля?

– Нет.

В зале начинают хихикать.

– То есть вы исключаете нанесение ущерба со стороны моего доверителя?

– Да, – протянула инспекторша, бросив взгляд на судью. Та, в свою очередь, подняла глаза к потолку – дескать, я теперь за тебя, подруга, не отвечаю, подсказок не будет.

– Ирина Александровна, вы читали обвинительное заключение?

– Да.

– Что вы думаете о нем?

– Что я не понимаю, откуда взялись семнадцать миллионов ущерба, когда в бюджет должно было поступить двенадцать, а поступило семнадцать. Это, получается, отрицательный ущерб, то есть... прибыль.

– Спасибо. У меня все, – уже под откровенный смех в зале победоносно завершил адвокат. Прокурору на реакцию слушателей было наплевать, он тыкал в телефон так часто, что всем и каждому стало ясно: играет в какие-нибудь шарики.

Я догадывался, что дело мне понравится, но и предположить не мог насколько. Много-часовой цирк, где свидетели обвинения подготовлены прокуратурой, но настолько неумело и топорно, что, даже сами того не желая, работают как свидетели защиты. Непосредственных свидетелей защиты – пять десятков, и каждый из них со своей позиции вообще не понимает, в чем состоит чудовищное преступление против города и региона. Хотя в нашей стране, где пресс-службы и прикормленные журналисты называют взрыв «хлопком», а пожар в шахте – «окислением угольных пластов», кто-то из губернаторов, конечно, должен был рано или поздно

нанести непоправимый «отрицательный ущерб» и быть за это судим, потому что всем известно, что всякий регион должен показывать неумолимый и крепчающий год от года рост. Вот рост – он может быть отрицательным, а ущерба быть вовсе не должно, пусть он и не ущерб вовсе.

Работа моя была незатейлива: всего-то и требовалось поначалу, что пообедать / выпить кофе или горячительного с десятком журналистов. Управился за пару дней.

Пишущая братия разделилась на три партии. Маленькие, только начинающие издания готовы были писать и ездить на суды – они знали, что новости о деле своего читателя найдут. Региональные старожилы, сидящие на подрядах администрации области или города, писать о событиях такого масштаба были обязаны, но не хотели, и ездить в суд опасались, потому что написать про экс-губернатора – это вам не первая полоса с фото, где мэр перерезает ленточку в новом детском саду, и не репортаж с «Дня огурца». Губер с утраченным доверием – фигура вроде как существенная, но нежелательная; в любом известии о нем слова надо складывать строго по государственной линии, которая пока еще не была прояснена для них, никто их, бедных, в ФСБ или управление внутренней политики не вызвал и темника не вручил, поэтому старожилы были согласны лишь на пресс-релизы и размещали куцую, безопасную выжимку из них. Отделения федеральных и столичных изданий писать не желали вовсе – и отнюдь не из-за страха получить по шапке от своих московских редакций, а скорей потому, что страсть как хотели денег. Денег, разумеется, у нас не было. Поэтому я поил коньяком и кофе малышей – и они первыми выплюнули новость об «отрицательном ущербе».

Дальше нужно было исправно посещать суды – раз или два в неделю, – брать с собой журналистов – то одного, то другого, – и пытаться расширять охват. В общем-то, рутина, которая в первые пару прилетов разбавлялась только другой рутинной – мне по-прежнему нужно было делать сюжеты для телека из user generated content, который по-русски следует называть «какого-шлага-наслимали-люди». Особенно раздражало, когда доставался сюжет о туризме, вроде «30 мест, которые надо посетить в этом году», – и тогда, сукины дети, они снимали вовсе не шлак, а какие-нибудь норвежские фьорды и рыбаков, или парусные яхты, идущие фордевиндом, с поднятыми спинакерами на озере Гарда, или уютные зеленые холмы Швейцарии с овечками, пасущимися на них, или Рождество в Страсбурге, где счастливые люди пили глинтвейн, гуляя вдоль домов с фахверками. А я сидел в аэропорту и писал тексты, полные плохо скрытой рычащей и завистливой злобы, и, наверное, редактор это почувствовал, поэтому перестал давать мне задания о путешествиях – «как-то ты холодно пишешь, без души, схематично... будто описываешь маршруты, которые следует посетить на танке, выжигая все живое вокруг».

* * *

Платежи за работу и деньги на билеты – раз в две недели, авансом – передавала супруга губернатора в Москве. Не лишенная обаяния, ухоженная маленькая женщина глядела на меня тревожно на встречах в кафе, и ей было важно только одно: «Как он там?» Они не разговаривали по телефону, на этом настояли адвокаты, они не поддерживали связи, чтобы не сказать лишнего; а лишнее было, и адвокаты это позже нашли, и следователи затем тоже; этим лишним оказалась незадекларированная должным образом – по невнимательности – ее московская квартира, обычная трешка в кирпичном советском доме. Хотя и это мало пригодились обвинителям – за исключением раздолбайского отношения к чиновничьей декларации, к квартире было не придраться. Все боялись, и этот страх наложил запрет на разговор, на самое важное, что есть между двумя близкими людьми. «Как он там?» – спрашивала она и плакала, но не от чувств, а из-за какого-то дефекта в железах или протоках, отчего слеза раз в несколько минут скатывалась по щеке сама, и она утирала ее салфеткой, походя и привычно, как чешут нос, не замечая того сами, как будто плакать все время – это естественно. «Как он там?» – а я должен был что-то ответить, и через месяц уже привык, и сам начинал доклад именно с этого:

– Был у него, он варил пельмени, слушал Высоцкого, чистил ружья.

– О, это хорошо, значит, все хорошо у него. А пельмени с чем?

– Телятина и какая-то зелень...

– Это дикий чеснок, это любимые его пельмени, это все хорошо, хорошо. А какую книгу читает?

– Я ему дал – без просьбы – Евгения Норина; просто сам в самолете как раз дочитал.

– Что за книга?

– История чеченской войны.

– Это хорошо, очень хорошо, он про войну любит, про армию.

Он тоже спрашивал о ней, но стеснялся, спрашивал будто бы между прочим и обезличенно:

– Тебе заплатили, все в порядке?

– Да, спасибо.

– Что-то передавали?

– Она скучает по вам очень.

– И, небось, считает, что надо было предложение принять, согласиться на условный срок...

– Нет, она понимает, что вы не можете иначе.

Ему предложили: признание вины, особый – сиречь непубличный – порядок рассмотрения дела, условный срок. Губер был тверд: никакого признания, ни за что, никогда. Настоящий «красный» директор. Он мне понравился – напоминал моего несгибаемого деда, не терпящего лицемерия, неправды, неискренности ни в чем, ни на пядь. Губер жил в кирпичном доме 1992 года постройки в обычном, никак не элитном, занесенном снегом поселке в пригороде. Меблировка, отделка, техника – все было довольно дорогим, качественным, но без капли роскоши, и говорило скорее о том, что здесь живет директор завода, привыкший к крепкому устройству всего вокруг, но не чиновник, который пускает пыль в глаза.

Поскольку адвокаты расстарались и губернатора перевели под подписку, тот мог появляться на публике. Я набросал концепцию наших действий – от походов на хоккейные матчи команды, которую он чудом сохранил для города, до общественной деятельности – полагал, что будет верно и весомо, если он поможет в борьбе с точечной застройкой одному общественному объединению. Но главной целью было возвращение в политическое поле.

Циркун тоже зашевелился и начал искать партнеров, которые могли бы пригодиться губернатору в этой непростой задаче. Все мы были бодры и планировали свернуть горы.

Однажды мы втроем – Циркун с помощником и я – вышли из квартиры и должны были разойтись в разные стороны. Я заметил машину, которую уже видел во дворе за пару часов до того: вроде бы и неприметная, но черная «десятка» не должна была стоять у подъезда нового дома на главном проспекте города; тут обычно располагались машины подороже. Внутри отечественного корыта сидели двое мужчин. Как только адвокаты свернули за угол (они пришли на встречу пешком), один из мужчин вышел из машины и отправился за ними, а десятка медленно подъехала к углу дома. Я набрал номер Циркуна.

– Не знаю, прав я или нет, но за вами вроде как следят.

– Ну ты и паникер.

– Андрей, я без шуток.

– Наружку я бы быстрее тебя заметил.

– Ладно. Но посмотри, там мужик за вами идет в серой куртке с высоким воротником и черная десятка едет.

– Давай потом, а? И не пей сегодня больше.

Я отправился на встречу с журналисткой, которая затевала фильм про губернатора. Мы бес толково болтали, выпив по бокалу вина, когда позвонил Циркун.

– Нас слушают, да похрен... – видимо, так адвокат обратился к пресловутому товарищу майору в эфире. – Смотри, они правда за нами ходят. И сбросить пока не получается. Можешь помочь?

– И как?

– Нужны несколько машин. И вызвать надо не от тебя.

– Окей.

– И позвони на другой номер.

– Адрес?

– Вот за этим и позвони.

При помощи журналистки, ее машины и двух вызванных на разные адреса такси, удалось переправить адвокатов на встречу, которая у них намечалась.

– Они не прячутся, – тревожно резюмировал Циркун уже на квартире.

Наружка может быть настырной и намеренной. Это даже не наблюдение, а преследование: постоянное, явное, наглое, с одной только целью – запугать объект. Однотипные мужчины метр восемьдесят, в темных куртках и шапках до бровей, ходят за тобой по пятам, садятся за соседним столиком в кафе... Такая жизнь требует привыкания и выработки навыка. Мне действительно было не по себе, хоть Циркун и обучил азам ухода от топтунов, это отнюдь не легкий трюк, да и применять его просто так нельзя, ведь полицейские соглядатаи хоть и не самые умные люди на свете, но тоже обучаемы.

Встречаться с нужными людьми стало неудобно: мы не сомневались, что в квартире есть прослушка, а в режиме бегства прийти на встречу вовремя, да в заранее (а значит, скорее всего, известное им) назначенное место нереально. Поэтому я постепенно смирился, что надо просто выбирать для встреч шумные места, и первые переговоры о публичном выступлении губера состоялись в ночном клубе: прямо на танцполе я кричал в ухо собеседнице, устроительнице интеллектуального клуба.

– Зал на двести человек устроит? – орала она под трек «Навернопотомучто».

– Это вам виднее! – орал я в ответ.

– Мы можем все-таки поговорить где потише? – срывая голос, предлагала она.

– Нет, за мной менты бродят! – устало кричал я в ответ.

– Ого!

– Да вон они.

И я показал на двоих одетых в джинсы и пиджаки мужиков, которые, оторванные от любимого пятничного караоке ипельменной, смотрелись в клубешнике как инопланетяне, неспособные двигаться в такт музыке. «Почему не могу избавиться от мыслей о тебе? – кокетливый женский голос весьма кстати озвучивал угрюмые взгляды парочки, обращенные на меня. – Одновременно радостно и почему-то гру-гру-грустно» – это прям про ментов на дискотеке.

Мне даже немножко доставляло, как внимательно они пялятся из-за плеча в экран моего ноута, на котором мелькали ролики для подборки «Топ-7 поцелуев знаменитостей на красной ковровой дорожке». Ведь они же должны были докладывать, чем я занимался весь день. А когда я от обеда до ужина рассматривал Брэда Питта, а потом искал кадры для сюжета «Самые яркие лауреаты премии Дарвина», что там можно было написать? «14:00–16:00, кафе „У Марины“, объект искал ролики с участием американских артистов Брэда Питта и Анджелины Джоли. Многие ролики, особенно ролик, который удалось идентифицировать как открытие Каннского кинофестиваля (Франция), просмотрены большое количество раз». Полковник, курирующий дело, читал этот бред, поднимал на моих друзей глаза и расстроенно спрашивал: «Вы чего, братцы?» – «Товарищ полковник, он как издевается! Будто бы знает, что мне Анджелина, того, нравится». – «Так. А что там у него в телефоне?» – «Шестнадцать звонков

на один номер за два дня. Мы установили: это номер Людмилы Пинегиной, проживающей в Москве». – «Кто такая?» – «Девушка его».

Я звонил ей, писал ей, а товарищ полковник, конечно, читал сообщения, и слушал наши разговоры, и плакал оттого, что такая любовь бывает. Может быть, даже показывал жене расшифровки, и она вздыхала и спрашивала, посадят ли меня. «Этот не в разработке, он так... свидетель», – отвечал полковник. А жена его просила принести следующую серию наших переписок и диалогов, нашего неумолкающего романтического трепа: это было ее вечернее чтение. Но главного она, как всякий читатель, ведомый эмоциональностью – и своей, и текста, – не уловила. Главное сообщение было написано после разговора с губернатором о его супруге. «Мил Мил, слышишь, слышишь, я не представляю, что со мной будет, если я не смогу говорить с тобой».

Циркун, конечно, сделал какие-то выводы из слежки и решил дать новое задание.

– Штапич. Нам надо прощупать Администрацию Самого. Присматривают ли они за нашим делом или нет?

– А наружка и оперативник в зале суда нам ни о чем не говорят?

– Это может быть инициативой местных. Нам нужна именно Администрация Самого. Р., этот пидор, оттуда ушел в Думу, неясно, на чьей они стороне.

– А как это... понять?

– А я знаю? Давай, ты же специалист. Помнишь про туннель сознания?

Специалист отправился в Москву, думать. Специалист не хотел терять работу, потому что уже взял билеты в Минводы, но перед тем планировал еще и в Питер успеть.

* * *

Мила постоянно складывала картинки и ссылки на разные вещи, которые она хотела, в специальную папку на компьютере. Конечно, я, прослышав об этой папке, начал регулярно ее проверять и воспринимал как стол заказов.

Получив очередной аванс и купив билеты в Питер, я как раз думал, чем еще можно порадовать Милу, и обнаружил ссылку на новую коллекцию серебряных колец с разными забавными геометрическими выкрутасами и полудрагоценными камнями нескольких цветов. Словом, я решил, что женюсь. Хотя в папочке не было ни файла «Штапич», ни единой ссылки, ведущей куда-то ко мне. Я шел как бы в придачу к колечку.

– Кольцо – угадал? То? – жадно спрашивал я, уже отликовав и отцеловав Милу после ее молниеносного «да».

– Не совсем то... – Мила, привыкшая быть честной до конца, и не могла ответить иначе.

– Мы добудем то. «Не то» нам не надо.

– А это можно сдать?

– Нет, это важное кольцо, ты ему сказала «да».

В Питере было три магазина с серебром той ювелирной конторы. Конечно, я выяснил, где есть нужное кольцо, и забронировал его. Я проложил маршрут так, чтобы сначала мы посетили два магазина, где того самого кольца нет. Первая точка – на Лиговском проспекте, прямо у площади Восстания. Мила немного огорчилась – как и было задумано; мы купили еще одно «не совсем то» колечко, с белым камнем, и через бар и пару глинтвейнов, по моей мысли, должны были отправиться на вторую точку, на Каменноостровском.

Но у Милы, как всегда, был свой план: двинуть на барахолку на Удельную. Мы взяли бутылку «Егермейстера», чтоб было нескучно, и принялись бродить между одетых в тройные куртки и теплющие сапоги продавцов, прижимаясь друг к другу, потому что проводные наушники были поделены на двоих. «Би-2» составили нам компанию – «Держаться за воздух» здесь, в царстве хлама и хаоса.

Все-таки удивительное место – барахолка: там люди натурально покупают дешевый мусор, происхождение которого неизвестно, или мусор дорогой, времен Николая II. Каждый раз, оказываясь на таком рынке, я начинаю думать – с какого трупы могли снять эту одежду или с какого пожарища вытащили игрушки. Мила не замечала этой возможной судьбы вещей, их памяти, их рождения; она видела лишь новую жизнь. Так она относилась и ко мне – без предубеждения. Правда, в моем случае она вполне отдавала себе отчет в том, с какого пепелища я, покрытый грязью и сажой, взялся.

Мила вбила себе в голову, что, поскольку у меня нет рабочего стула, надо его купить, и купить непременно здесь, на холоде блошиного рынка. Рублей за триста мы взяли прочный угловатый стул ярко-красного цвета. Мой стул – с судьбой, похожей на мою: с обочины, крутой и явной; дальше для нас обоих случилась бы помойка, но нам обоим повезло встретить Милу. Характером и стилем стул тоже был как я: вроде яркий, но местами потертый, в целом б/у, но еще способный исправно служить, и долго. Не ветеран и не юнец, не модный и не вышедший из моды. Такой себе, обычный, но как пятно – выразителен и может зацепить глаз.

Стул ездил с нами в метро, стул стал нашим партнером по путешествию. Теперь мы могли пить «егерь» сидя. Мила наслаждалась стулом и Питером, ликером и даже морозом. Странно это – с ликером Геринга и мебелью разъезжать по Ленинграду, – но нас это не смущало.

Я нервничал из-за того, что бронированное колечко – отчего-то я так решил – могло нас не дождаться. Но мне удалось взять себя в руки и воплотить план до конца: прибыв на Каменноостровский проспект, там мы взяли еще одно – с другим дизайном, с камешком иного цвета, и, чтобы преодолеть еще одно огорчение от не того кольца и закончившегося «егеря», заглянули в еще один бар. Там какой-то веселый тип предложил за стул две тысячи. Мила категорически отказалась продавать, хотя я был за: все-таки таскать стул по городу, который от снега чистят раз в столетие, – морока.

Наконец, в третьем магазине, на Сенной, установив стул посреди торгового зала, мы обнаружили то самое кольцо. Мила, четырежды окольцованная за два дня, расцвела. Кажется, мне удалось донести до нее то, что я хотел: никуда тебе не деться, я все равно добьюсь, чтоб ты была довольна. Однако мнительность и дурацкая привычка трижды убеждаться во всем заставили меня подпортить момент и проговорить это вслух. Мила, привыкшая уже не обращать внимания на мои глупости, просто благодарно поцеловала в ответ.

Ее голубые/зеленые глаза блестели от счастья. Загадочно и мистически мерцал зимний город, город моего первого вкуса – бананов на Невском, город первой моей музыки – симфонического оркестра в Летнем саду, город, скрывающий в себе планету – огромный глобус в Военной академии на Черной речке, напротив кабинета деда, город моей первой памятной боли – стоматология на Ветеранов, будь ты неладна, город первой тоски – по матери, город первой потери – брата, лежащего на Ковалевском кладбище, город-наркотик, город-сказка, несбыточный, парящий, он встречал нашу любовь – сумасбродную, безотказную, не помнящую себя.

В моем плане осталась лишь одна точка, вернее, даже улица – Рубинштейна. О средоточие баров, о проклятый символ неводержанности и гедонизма! Прорвавшись через бесконечные сугробы, будто намеренно устроенные поперек тротуаров, протаскивая за собой стул, мы выбрали к Пяти Углам. Дальнейший маршрут не удалось восстановить и после; доподлинно известно, что он был пьяным, корявым и извилистым, хотя сама улица Рубинштейна прямая. Стул неизменно приковывал внимание посетителей баров и прохожих. Благодаря ему я обнаружил в петербуржцах тягу к покупке странных вещей с рук прямо на улице: за стул предлагали и три тысячи, и пять, а на углу Невского, кажется, он стоил уже семь тысяч, и я готов был его отдать, но Мила, невзирая на мои доводы («цена с утра поднялась в двадцать раз!»), продавать опять не согласилась.

Провалиться в сон – выбравшись из центра, затащив стул в трамвай в Автово, вывалившись из трамвая на Петергофском шоссе, дойдя до дома своего детства, – провалиться в сон,

как в новогоднюю иллюминацию, в лампочки, окаймляющие фасады, будто подчеркивающие пустоту и невозможность этой гигантской петровской декорации. Упасть в нежность темноты в той самой комнате, с подоконника которой в детстве наблюдал машины и считал: сколько за час, к примеру, проедет зеленых? Их всегда было мало – любых, потому что улица эта разорвана пополам, улица – двойной тупик, такая, верно, одна в Питере. Считать машины на шоссе – сложно, оно далеко, на шоссе можно считать только трамваи, следующие в Стрельну.

Мила засыпает быстро всегда, будто не имеет за душой ни единого переживания.

Я сползаю в кресло – кресло моего брата, где он всегда лепил из пластилина, и выходило у него отлично; он сидел в кресле, и мы смотрели телек, и там часто крутили клип какой-то группы, где музыканты закидывают землю в могилу посреди леса; так же, только в поле Ковалевского кладбища, мы кидали по горсти на гроб брата. Он приснился мне, спрашивал, зачем мне это надо: второй раз жениться, неужели я не понимаю, что все равно все внутри меня, и ничего поверх того не нужно; корил: ведь у меня же двое детей, и надо заботиться о них, и неужели это может зваться заботой – два раза в месяц таскаться в Тверь и ходить с ними в кино; твердил, что так жить, как я, стыдно, и что все всегда думали, что из меня выйдет что-то большое, и про него так тоже думали; просил, брат просил съездить на его могилу.

– Поехали на Ковалевское кладбище? – сказал ей утром.

– Хорошо, только давай санки возьмем, – неожиданно быстро согласилась Мила.

Ей есть где взять санки в Питере: это ведь и ее город, здесь – ее крестная.

Способ передвижения идеален для Петербурга: снег становится второй плоскостью города. Первая же – реки, третья – крыши, они неизменны и всесезонны, только зима и ее снег сближают плоскости – и город не распадается, становится един: от замерзшего канала в Таврическом саду и до неба.

Санки с Милой проехали вдоль Ильича у Финляндского вокзала, санки забрались в электричку. И стало солнечно, пусть и по-прежнему морозно, и санки с Милой катились по кладбищу, и я рад был прийти к брату, и он мне, наверное, тоже был бы рад, потому что мы любили друг друга – старший и младший. Если б я лег раньше него, я был бы не против, чтоб санки под его любимой скрипели полозьями где-то рядом. Сломал сигарету, оставил ее несовершеннoлетнему моему красавцу, зная наперед, что тетка будет ругаться, когда навестит могилу.

– Теперь на третий участок, – указала Мила.

Там – ее дед по матери. Наши покойники – рядом. Странно, но от этого – тепло.

Вернулись в город. Ничто так не подходит прогулке на Исаакий, как Нэнси Синатра и «ужасный звук, бэнг бэнг, мой малыш меня застрелил». Годы летят, а выстрел остается; застрявшая пуля никуда не денется.

Мила шла наверх, под колоннаду купола, она держала меня за руку, она так далека от меня, так близка – ровно на расстоянии провода наушника и никогда не дальше.

Переместились – через мост – на Васильевский остров. Бесконечные линии будто бы созданы для учета длины набережной. Мила, не глядя на указатель, свернула, узнав свой серый питерский угол. Она как петербуржец, который чует свое даже вслепую, только по поэтическому свисту ветра, не иначе, и в каждой линии он свой, особенный, этот полутон.

– В детстве я сидела на подоконнике и считала трамваи под окнами, – говорила Мила, не зная, что я порой брал бинокль, чтоб сосчитать их на Петергофском шоссе. Угол Среднего проспекта и какой-то – не упомяну какой – дальней линии Васьки.

Мы в парадной. Мы пьем «егерь». В наушнике, уже вжившемся в ухо, песня АББЫ «Зэ виннер тейкс ит олл». Неслучайная случайность.

Двустворчатая дверь комнаты в коммуналке; все забито книгами – даже пространство между батареей и подоконником. Человек, породивший мое божество, жил так, как и положено было праотцу божества – жил книгами. Все верно. Все точно.

– А ночью окна дребезжали, и пол, и весь дом, только потолка как будто не видно, и он недвижим. Наверное, так казалось, потому что я спала на полу, на матрасе, – вспоминает Мила, запирая комнату.

Этот город, где мы пешком шли с двузначных линий Васильевского до «Спортивной», делает нас ближе с каждой секундой. Питер – это проверка любовников, проверка влюбленных: если он умудряется разобщить парочку, ей точно не жить, не быть, не пресуществоваться никак. Москва может соединить, даже случайно, под хмелем, даже весьма романтично, пусть ошибочно, от щедрот, но Питер непременно подставит ножку, если люди не подходят друг другу. Перед нами же Петербург расстился.

Мы шли в «Камчатку», эту бывшую котельную общежития, не зная еще, что именно сегодня это место празднует какой-то многолетний юбилей в качестве открытого для всех кабака. Собственно, и «Камчатку» было сложно разглядеть за людьми, набившимися внутрь. Петербург хотел праздника для нас и с нами – и в тесном полутемном подвале какая-то плохо отстроенная группа заиграла редкую и трогательную песню местного кочегара Цоя «Разрешите мне». И Мила разрешила танцевать, и это не танго, а обычный медляк, покачивание на месте в обнимку.

Город хотел, и хочет, я уверен, чтобы мы остались с ним, потому что убежден, что мы ему придемся кстати. О наш хороший, величественный и скромный, никогда не могущий высказать всего, порой умалчивающий даже свое важное! Мы будто плоть от плоти – твои, и давай это разрешим раз и навсегда, и поймем, что нам не быть вместе.

И мы уезжаем. Я – в Пулково, чтобы попасть в не сравнимый с тобой, Питер, но лучший из сибирских городов к утру, Мила – чтобы забрать стул и дуть в Москву на скоростном поезде.

Летел и думал: «Как Мила зайдет в свой экспресс со стулом? Можно ли туда вообще со стульями?» Оказалось – можно.

Мы обозначаем нашу географию на карте: красная линия – «маршрут стула» из столицы в столицу. Ноль меток, небытие в картографическом смысле – мой полет в Сибирь.

* * *

Беспардонно счастливая прогулка по Питеру резко контрастирует с сибирским аэропортом, где меня, уже по традиции, встречают те двое, в шапках.

Они не знают, что я задумал, до чего ж дотумкал мой серенький мозг. Размышляя о задачке, заданной адвокатом, я решил, что раз надо задать вопрос Администрации Самого, то это нужно делать через знакомые этому механизму каналы. А как понять, за чем же они уже приглядывают? Конечно, за всем, где показывался Навальный. Я был уверен, что всюду, где наследил или был поддержан этот плут, стояли маячки. Порывшись во всех-на-свете-ресурсах, где хоть раз, хоть что-то говорил Навальный, я обнаружил, что есть небольшой, но весьма интересный подсайт в одном коллективном блоге. Подсайт назывался «Расскажу». Туда приходили разные интересные люди – от бывшей проститутки до нейробиолога, от сотрудника НАСА до владельца какой-нибудь фермы улиток. Визит гостя был устроен следующим образом: выкладывается тема, под ней пишутся вопросы, на которые надо ответить в течение суток-двух. Идея поотвечать на вопросы именно там привела меня в восторг. А вот адвоката и губернатора – нет. Пришлось проводить разъяснительную работу и твердить упорно, что губернатор под уголовным преследованием – самое место в компании проститутки, нейробиолога и Навального. Губернатора возмущали не шлюха и ученый, а именно Навальный: «Почему я с этим шпионом рядом буду?» Аргумент у меня был простой: «За решеткой вы все равно можете оказаться приблизительно в таком обществе».

Я сфотографировал губернатора с листочком, на котором было его ФИО и подпись «для такого-то подсайта» – так мы верифицировали его личность. Договорились о дате с админи-

стратором ресурса – и вот мы сидим в квартирке на кухне, пьем кофе и ждем полудня, когда будет выложен пост. Внизу околачиваются мои двое, в шапках. Ох, не донесли вы полковнику, не узнали, что я задумал. Но я, признаться, и сам не понимал, чем все обернется.

Вопросов было не сказать что много – с полсотни. У проститутки и нейробиолога было больше. Многие – будто бы еще действующему губернатору: что будет с тем-то мостом, с такой-то дорогой. Какие-то – о происходящем: кто его надоумил войти в чат, надолго ли его посадят. Некоторые – о действующей власти. «Какого вы мнения о новом мэре?» – «Страшная ошибка». Оказалось, что правды-матки в России достаточно для сенсации – и даже прикормленные администрацией СМИ в тот же день принялись упражняться в мастерстве заголовка на основе «страшной ошибки».

Через пару часов стало ясно, что шалость удалась. Новостей в региональных ресурсах было множество – некоторые к вечеру даже написали о губере дважды; в самом популярном издании новость прочитали сто тысяч человек и оставили больше тысячи комментариев. Позже я их проанализировал: вышло, что 67 % читателей поддерживают бывшего губера, и только 9 % – преимущественно боты – поддержали нынешнего. Прочие были нейтральны или к делу не относились. 67 против 9. Полагаю, в Администрации Самого были неприятно удивлены.

Я улетел в Москву. Утром телефон подозрительно молчал. Открыл ленту новостей: у губера начались новые обыски. Позвонил адвокату, тот отклонил вызов и написал в ответ: «В квартире обыск, не могу говорить».

Вернулся к новостям – и увидел, что Первый канал уже разместил видео, в котором следователи в третий раз за последний год проверяют охотничью лицензию и документы на ружья у губера. Репортаж вышел первой новостью. Значит, команда была отдана из Администрации Самого. Иначе первой новостью, еще до обязательных танцев вокруг мужества президента или его встреч, на Первый канал никакой сюжет не ставится. Исключения составляют авиакатастрофы, испытания оружия и всякие срочные новости вроде победы хоккеистов на каком-нибудь чемпионате мира или удачного выступления очередного клоуна, лучше всего в псевдорусском стиле, символизирующем традиционные ценности, на европейском конкурсе фрик-певцов.

Грицун хотел знать, следят ли за делом. Грицун получил ответ.

Но я радости не испытывал: «В ходе обыска был найден документ под названием „ПЯР-концепция“, в котором содержится план по возвращению подсудимого в политику». Все, что я придумал, что уже начал строить, было сметено и разрушено. Это подтвердилось уже на следующей неделе, когда люди в погонах пришли к собственнику помещения, где должно было состояться собрание интеллектуального клуба (людей было много, четырехста записанных и очередь ожидающих). Люди в погонах пришли – и обрисовали круг последующих проблем в случае, если собрание состоится.

При последней нашей встрече я спросил губера про страну:

– Что будет дальше?

– Холодильник победит телевизор. Может, этой зимой. Может, в следующем году. Холодильник победит.

Что-то в этой формуле мне показалось неверным, плоским, если не лживым, но не разобрав тогда, не обдумал.

Впервые в жизни сделал свою работу настолько хорошо, что потерял ее. И не предполагал, что такой расклад возможен.

В моем случае телевизор и силовики победили холодильник, мой холодильник, который рисковал теперь остаться без гостинцев из поездок, без хамона из Каталонии и просекко из Венето.

– Это же хорошо: за тобой теперь следить никто не будет, – размышляла Мила.

Внутренний скупердяй готов был припадочно верещать в ответ: да я готов камеру себе на голову установить и закрывать ее только во время любовных игр, мне скрывать нечего, кроме того, что колтыхается и кувyrкается в моей тщедушной душонке, а до этого всем ментам и спецслужбам мира дела нет. Лучше уж быть тем, за кем присматривают недобрые плечистые молодцы, чтоб досье с описанием мелких грешков лежало у них на полочке, но при этом иметь возможность уехать в место, не связанное ни с чем, кроме как с первым взглядом взаимной любви на него. В конце концов, за всеми кое-кто присматривает.

4. Пухляк

Мне казалось, что пары дней достаточно. Потому что я стоял на беговых лыжах лет с четырех. Я же родился в Вологодской области, нас из чрева матери вынимают готовыми к жизни: все младенцы вооружены безударной «о», умением отличить настоящее молоко от того, что обычно весь мир называет молоком, и лыжным комплектом. Да-да, бытует ошибочное мнение, что люди могут рождаться только головой или попой вперед; но вологодские рождаются лыжами наружу. Маленького вологжанина не шлепают по попе, а ставят на «классику», показывают картинку с изображенной на ней курицей и говорят: это корова. И едва родившийся вологжанин кричит не от боли, не от раскрывшихся легких и даже не оттого, что лыжи – длинные и тяжелые, с креплениями-автоматами вместо ручных, а от обмана: мы не терпим нечестности, и если перед нами корова, то и называть ее следует кОрОвОй.

И вот – кабинка подъемника слегка покачивается на ветру, рядом – Мила, которая вообще-то катается на доске, но тут взяла и лыжи, чтобы подучить меня. Из динамика раздается идиотская и прилипчивая песня: «Ты мной не владеешь, / Не пытайся меня привязать к себе, / Потому что я не останусь с тобой», – безголосая американская певичка из далеких шестидесятых все поет о своей независимости, а я, наоборот, хочу привязаться.

Мила выдала мне какие-то старые лыжи «чуть короче нужного, но тебе так даже легче будет». Два дня учебы, первые соскребаания с Эльбруса, от Гара-Баши, падения и обретение твердости в ногах, врезающихся кантами в лед нижнего участка трассы. Незримое ощущение постоянной опасности: камни на трассу попадают, верно, сверху; спасатели постоянно, по пять раз на дню, везут люльку с очередным переломанным вниз; горы напротив то заволакивает облаками, то мгновенно расчищает от них.

* * *

К утру третьего дня ноги уже не ходят – закисло и икры, и бедра.

– Ты как? – спрашивает Мила, с подозрением косясь на то, как я с трудом натягиваю штаны: по-детски, лежа, одними руками, с заметным сопением.

– Отлично! Сегодня на Чегет? – делано молодцевато и резко вскакиваю я.

– Может, день отдыха?

(Это означает, что надо встретить толпу ее друзей, которые приедут днем, и ничего не делать вместе с ними.)

Ну уж нет! Мы приехали кататься, и каждый день – это траты. Покорю склон на одном скряжничестве; иных сил все равно нет.

На скрипящем, ржавом и невероятно медленном подъемнике, главная цель которого – последовательно испугать неокрепшего новичка, а потом заморозить его до отупения, до отключения чувства самосохранения, попадаем на вторую станцию, к легендарному кафе «Ай».

Валит снег, и Мила восторженно изрекает: «Пухляк». В этом легковесном слове, да и в его английском аналоге – «паудер», не видится ничего ужасающего – напротив, «пухля-а-а-ак» она произносит со сладким ожиданием в голосе.

Не обсуждая и не договариваясь ни о чем с Милой, я сразу топаю в кафе, чтобы разогреть застывшую кровь глинтвейном. Мила любит ушельем и рассказывает о песнях Визбора, ставит «Домбайский вальс». Запоминаю строчки: «Мы навсегда сохраним / В сердце своем этот край». Образец типичного бардовского стихоплетства, мурлыканье школьных глагольных рифм под три аккорда, однако не лишенное злого пророчества: забыть этот день я не сумею.

Чегет трудно сравнить с другим горнолыжным курортом. Собственно, это и не курорт, а гора с подъемником, на которой никогда не чистят трассы. После Эльбруса предугадать такое я не мог. Меня немного напрягали повсеместно продаваемые наклейки и магниты с надписью «Чегет – в Европе круче нет», но в этом виделась скорее туристическая бравада, чем угроза жизни. А между тем Чегет оказался и правда настолько крут, что просто не изобрели оборудования, которое может работать на этих уклонах, потому его и не чистят.

Также оказалось, что въезжать на пухляк, когда ты на коротких узких лыжах, попросту опасно. Лыжи проваливаются, и контролировать их совершенно невозможно. Это приблизительно как ходить по вязкому травяному наросту в болоте. Мила наверху кратко, раза в три меньше уделив времени, чем Визбору, разъяснила: «Ты садись назад, на пятки». Это вступило в прямое противоречие с моим двухдневным курсом молодого бойца, где мне объяснялось, что стойка для катания – с полусогнутыми коленями, а голень должна упираться в язычок ботинка, всю массу тела загружая вперед, на носки, и контроль скорости возможен ровно тогда, когда есть контроль носка.

Кое-как, траверсами, сильно отставая от спускающейся рядом, улюлюкающей и верещащей от удовольствия толпы досочников, вслед за Милой я доскребся через непредсказуемый рельеф и торчащие отовсюду камни до леса, который казался спасением – ну не может в лесу быть так же круто?

Там, поглядев вниз, я почувствовал, как тянет в яйцах: просека падает куда-то вперед так, что конца ее не видно. Бугры, которые на вершине горы, на гольце, обдувались ветрами и как-то выравнивались, здесь попросту обрастают снегом и становятся огромными, в метр высотой, и их вершины отстоят друг от друга метра на полтора, то есть как только один бугор сходил на нет, тут же начинался следующий. Между буграми под снегом предчувствовались впадины неизвестной глубины. Хорошо еще, что, несмотря на обильнейший снегопад, трасса была уже подраскатана и растаскана теми, улюлюкающими, и пухляка было не так много.

Мила лучилась от счастья, лучилась от самого снега, а я нервно курил и думал, как же выйти из положения: идти наверх было бы долго, второй станции канатки уже даже не видно – так крут подъем. Ехать вниз – это испытание сродни смертельной битве.

Но Мила уже включила камеру, установленную на шлеме, прыжком развернула борд и отправилась вниз, мягко лавируя по колдобинам. Я постарался не отстать, но преодолевать бугры на неуправляемых коротких лыжах, стараясь достать носки из снега – это скорее эквилибристика, чем катание. По сути, во время движения ты должен выбрать одну из двух возможностей: управляемость в поворотах – или шанс не закопаться и не воткнуться носками. Я выбрал не закапываться. Оказалось, что это неизбежно приводит к бесконтрольному набору скорости: ты не можешь повернуть, не можешь резать склон кантами и лишь радуешься поначалу, глядя на неутапающие, торчащие из снега носки лыж, а когда поднимаешь глаза – скорость уже такова, что дернуться вперед и встать в стойку невозможно, ведь жопа отключена, и ты просто летишь, обгоняя сноубордистов и ловя их испуганные взгляды...

... летишь ровно до гребаной сосны, которая какого-то черта стоит прямо посреди склона.

Встреча с сосной на скорости в какие-то сорок километров в час не кажется катастрофой при описании, но на деле темнеет в глазах, левая часть грудной клетки трещит так, что, кажется, звук разносится эхом по лесу. Хорошо, что сосна поглощает энергию движения и хотя бы катиться кубарем вниз уже не надо.

Глаза Милы надо мной, и они полны ужаса.

– Господи, ты как? Ты влетел... в два дерева, одно за другим.

– Узнаем сейчас.

– Вставай.

– Нет, сначала пощупаю.

– Что пощупаешь?

Вопрос один: перелом это или ушиб? Она не понимает, потому что видит только разбитый нос и залитое кровью лицо. Рядом с Милой возникают другие лица.

– Все хорошо, – говорю.

Лица сомневаются, но уплывают в снегопад. Пока я расстегиваю куртку и пересчитываю ребра, Мила успевает снять борд.

– Ну, это ушиб, максимум трещины.

Держась за сосну, встаю и вбиваю ботинки в лыжи, вытираю снегом лицо – на носу и щеке царапины, ничего страшного.

Вниз я даже не соскребался – сползал. Мила, не меняя тревожного выражения лица, неспешно катила рядом.

– А я чуть выше однажды... в камни воткнулась. Помнишь, я тебе рассказывала, как пятку сломала? – вспоминает она и ставит передо мной сто чачи.

Я курю и думаю о том, что каталка, видимо, для меня завершена, и, чтобы не выдать отчаяния, отворачиваю взгляд.

– Я на сегодня все.

Откуда ни возьмись, берутся ее друзья, они приехали из Минвод. Все готовы к каталке, веселы. Каждый вспоминает, как он убрался. Из их диалога мне становится ясно, что они – отряд самоубийц-неудачников: один дропнул на камни в непроверенном месте и поломал колено, другой влетел в столб подъемника, катаясь по запрещенке, третья через сезон ломает предплечье, еще одну откапывали из лавины. Чего еще ожидать от людей, которые ходят по горам без карт?

– Тебя проводить, родной? – конечно, Мила собралась кататься со всеми.

– Нет, я сам.

Есть ряд вещей, которые трудно делать с отбитыми ребрами. Например, нагибаться.

Но понятно это не сразу. Там, на поляне, у кафе, я скинул лыжи и воткнул их в сугроб без особого труда; наверное, еще работал адреналин. Когда я подкатил к отелю и отстегнул лыжи пятками, то внезапно понял, что не могу ни присесть, ни согнуться. Единственное, что вышло, – встать на колени и, опершись на лыжи, подняться, тихонько выдыхая чистую боль. Встал, ощущая еще и редкое чувство преодоления без примеси гордости. Поглядел вниз и чуть не заплакал, потому что палки я поднять забыл. Что ж, ощутил редкое чувство еще раз. Нужно сказать, что некоторые штуки лучше ощущать лишь однажды.

Рентген, подтвержденный ушиб, душ, переодевание.

Просыпаюсь в семь утра от боли и хохота. В зале снятого на всю орду дома идет просмотр видео с go-про Милы. На видео я, полуплываю-полупадая по склону, влетаю в сосну. Комментарии и смех утихают, когда Мила подъезжает ко мне и в кадре оказывается разбитое лицо. «Все хорошо», – говорю я сноубордистам, пришедшим на помощь. Снова взрыв хохота. «Все хорошо у него, охуеть», – компания угорает. Мила оборачивается и видит меня. Я тоже улыбаюсь, все-таки мое стремление сохранить лицо иногда переходит разумные рамки. «А это он че делает?» – спрашивает кто-то. «Смотрите, он ребра пересчитывает. Он сравнивает, сколько их с каждой стороны». Мила обнимает меня. «Больно», – шепчу я ей.

Но еще больнее чихать. Диафрагма во время чиха сжимается раз в пять, говорю я вам. А потом резко расправляется, и в подреберье будто разрывается петарда. В доме сквозняк; в некоторых комнатах окна продувает немного, но достаточно для тяги. А в гостиной, где и тусуются все, окно приходится открыть из-за духоты. Моя бедная диафрагма весь вечер упражняется, и давящая повязка ослабевает.

Не могу заснуть. Нимесил, нурофен, двести коньяка. Ни в одном глазу. Любое шевеление в полудреме – и ребра трещат. А Мила и ее компания орут, поют, бесят тем сильнее, чем более я осознаю себя неуместным.

Я как старый дед, хотя я среди ровесников. Господи, где мои пятидесятилетние приятели, хочу к ним. Хочу в «Сандуны». Хочу кряхтеть, пить квас или пердеть, развалясь в подушках с книжкой на диване. Хочу жаловаться на болячки, все равно поднакрыло в последнее время: экзема, теперь эта отбивная вместо ребер, будет что рассказать в бане. Хочу на концерт бала-лаечника Архиповского. Утку с яблоком в жопе. Плед. Самогон. Сходить на рынок и купить всякой снеди на неделю, чтобы готовить раз в день и носа на улицу не показывать. Хочу секса, чтобы я снизу, не шелохнувшись, только лениво прихватывать то задницу, то титьки. Последняя мысль стягивает сварливого раненого деда с кровати.

Опять бреду в гостиную, из которой разносится... блянье. Восемь человек в среднем двадцати семи лет от роду блеют: «бе-е-е-е-е». Мила не блеет. Но я уже не впервые замечаю, что она как будто – и это, видимо, неизбежно – тупеет в этой компании. Моя богиня меняет свою царственную улыбку на странную, будто надетую сверху на лицо, ухмылку, которая обозначает своего рода идиотию неясного происхождения. Зачем же нужно блять?.. Что может пробудить это в хомо сапиенс, проживших уже почти полжизни? Принюхался, думая засечь запах каннабиса, но вроде не пахнет.

Оставил это неизвестным, оделся и пошел в дорогой отель неподалеку. Как знал, что там есть беруши. А там не только беруши. Там спа, тапочки и халат в комплекте, шведский стол и звукоизоляция. Покидал отель почти плача – будто лыжи уронил.

Вернулся, решил помыться, но в душ очередь. Посрать? Туда тоже очередь.

– Куда ты ходил? – спрашивает Мила, когда я зло захлопываю дверь в комнату.

– За берушами.

– А чего телефон не взял?

– О, точно! И телефон не взял. Мне кажется, я старый. Я хочу срать, спать, я воняю и болю, чихаю и мерзну. И вся эта хуйня мне не нравится. Я хочу срать, когда хочу, а не терпеть, пока какие-то овцы стоят в очереди передо мной.

– Почему овцы?

– Потому что они бляли. Это верный признак овцы. Да и выглядят некоторые...

– Ну зачем ты? У них просто воспоминания о Грузии...

– Давай в отель переедем, а? Там шведский стол.

– Но у нас тут оплачено.

– Да пофиг. Тут не отдохнуть, особенно с этими ребрами.

– Почему?

– Потому что нельзя отдохнуть там, где нельзя поспать и посрать в удобное время и где какая-то сволочь все время открывает форточку.

– И как ты себе это представляешь? Будем сюда ходить?

– Зачем?

– Ну время проводить.

– Ты правда представляешь, что я буду сидеть и полвечера блять? Ты думала, я так обычно отдыхаю?

– Тогда я одна буду из отеля сюда ходить?

– Нет. Мы приехали с тобой отдыхать? Вот и отдыхай со мной.

– Но тут мои друзья.

– И? Я вроде бы не настаивал, чтобы они были здесь.

– Нельзя же не приходить, они как семья.

– Да ну? А я, мать твою, кто тебе?

Мила задумалась. Я задумался еще крепче. Какая-то ниточка, связывавшая нас, натянулась и беззвучно лопнула – черт его знает почему.

Мила помолчала и нашла своеобразный способ дать мне поспать: увела всех в какой-то кабак. И я действительно заснул.

Утром Мила отказалась идти в отель на шведский стол, и пришлось со всей отарой направиться в какое-то (наверное, единственное во всем Баксанском ущелье) хипстерское кафе, ненавистное хотя бы потому, что до него надо идти через пол-Терскола. На выбор завтраки по настроению: завтрак влюбленных, завтрак спортсмена, завтрак туриста, завтрак сноубордиста и так далее. Каждый завтрак – это омлет с разными начинками: сосиски, какие-то бобы, овощи и прочее. Официант принимает заказы у всех, потом обращается ко мне. Выбрать невозможно. Я уже загадал шведский стол, где есть все. «Дайте мне завтрак очень злого человека», – шучу, но он кивает, и моя потуга оказывается не напрасной: за те же деньги мне приносят завтрак, в котором есть всего помаленьку. Так случайно иногда встретишь гения в своей профессии – и тот официант был им.

Днем я уехал из Терскола. Мне позвонил Грицун. Мила в это время была на горе. Немного волновалась по телефону, и мне едва удалось ее убедить, что я правда уезжаю по делам и это – срочно.

* * *

Ничего срочного, конечно, не было. Позвонил Грицун:

– Когда можешь в Красноярск?

– Да хоть сегодня. Только я на Эльбурсе.

Грицун оплатил и перемену рейса с Минвод до Москвы, и такси до Минвод.

Речь шла о деле, за которое нам не стали бы платить – во всяком случае столько, сколько принято. Грицун скинул двадцать тысяч – стандартную таксу за день, «из своих». Сам он занимался делом на общественных началах и надеялся навести немного шороху в СМИ.

Маленький городок, тысяч в двадцать пять – тридцать населения, который, я уверен, уже на следующий день после развала Союза выглядел так, будто его оставили войска при паническом бегстве, и это сказывается теперь на всем: на безнадежности во взглядах взрослых, на обреченной походке любого случайного прохожего, на пьянстве и загулах, на диком и случайном криминале, на унылом ассортименте магазина, на отчаянных и опасных играх детей, которые отрываются будто бы в последний раз и лезут в трансформаторы под напряжением, на трубы котельной и на спор перебегают оживленное шоссе перед грузовиками: кому удастся как можно ближе перебежать, тот и победил.

В этом городке жил себе железнодорожник Слава. Слава был женат, и супруга его вынашивала первенца. Вместе с сестрой Слава на кое-как скопленные деньги купил помещение, чтобы сдавать в аренду торгашам. Слава рассчитывал на эту ренту, тогда бы он смог наконец бросить работу и отправился бы путешествовать: Слава мечтал пожить в Грузии или в Сочи, на югах. Работа же ему разонравилась по причине объяснимой: за последний год он сбил – пусть и не по своей вине – маму с ребенком и мотоциклиста на переезде.

Но мечты Славы в жизнь так и не воплотились. На помещение положил глаз местный авторитет, главный сборщик металлолома в округе, Сысоев, известный в узких кругах как Сысой и почти повсеместно (но, конечно, за глаза) известный как Сися. Сися сначала пытался напугать железнодорожника Славу и его сестру, потом подал иск, понимая, что не те времена и суды уже гораздо проще и эффективнее, чем подкарауливать на улице и ломать ноги. Сися был близок к победе, и помещение – одноэтажная халупа из кирпича 1968 года постройки площадью 250 метров – вот-вот перешло бы к нему, оставалось дожидаться решения от давно знакомого Сисе судьи, бывшего мента, с которым Сися был кентом еще в девяностых.

Железнодорожник Слава, опечаленный таким ходом дел, разумеется, начал пить, представляя, что сбивать людей ему придется как минимум еще несколько лет, покуда не скопит на другое помещение. Пил он по любому поводу, в любое время и в самых ужасных компаниях, что закончилось увольнением. Беременная супруга Славы переносила его пьянство с трудом,

и отношения их разладились, а когда он потерял работу, то и брак оказался на грани краха; от ухода Олесю удерживала только вера в то, что происходящее – последствие переживаний, что все это пройдет, когда и если дело со строением разрешится удачно для семьи.

Однажды Слава, в легком подпитии, снял смазливую студентку местного техникума, приехавшую учиться из деревни. Он плеснул ей какого-то пойла, отвез в гаражи и там сделал то, что вряд ли бы помогло помириться с женой. Под утро все еще полупьяный Слава приполз домой, получил положенную порцию упреков и лег спать.

Уже в полдень пришли полицейские. Его подозревали в покушении на убийство Сиси. Оказалось, что, пока Слава развлекался с девицей в гаражах, кто-то подвесил растяжку на входную дверь участка Сиси. По замыслу злодея, Сися должен был подорваться, как только попытается открыть дверь. Но Сися отчего-то в урочное время из дома не вышел или не вошел; вышла его супруга, которой оторвало ногу и изрядно повредило туловище. Полицейские тут же допросили Сиси и составили список его врагов; в числе оных был и Слава. Менты, недолго думая, пробили биллинг каждого из врагов и выяснили, что Слава прямо перед взрывом, да и в момент взрыва, находился в этом же районе, что соответствовало правде: гараж Славы располагался всего в ста метрах от дома Сиси. Будучи приведенным на допрос, Слава ушел в отказ и ни слова не сказал о том, что у него есть алиби. Он верил, что его не могут упечь в тюрьму понапрасну, что найдется настоящий преступник. Ожидания его не оправдались. Славу стали колоть в СИЗО негуманными методами, то есть его попросту пытали: связывали ласточкой, били, капали водой на темечко, и он подписал все, что ему дали. Следователей мало смущало, что Слава не мог собрать взрывное устройство и вообще мало был способен на убийство.

Только в это время в деле появился порядочный адвокат, то есть Грицун. Он сделал все: Слава ушел в отказ от предыдущих показаний, рассказал об алиби, но, на горе, после пыток стал страдать потерей памяти и не мог вспомнить ни лица, ни имени девушки; потому показания не возымели действия: Грицун не смог ее разыскать. Он потрудился и встретился с каждой студенткой того курса, но ни одна не призналась в том, что спала со Славой. Тогда Грицун сумел доказать, что у Славы поехала крыша, и так оно и было – кроме потери памяти, от пыток у Славы развились параноя и клаустрофобия, потом он вовсе попытался перегрызть себе вены. Зубами, потому что иного подходящего инструмента он не сыскал. Славу отправили в психушку, откуда он успешно сбежал и теперь находился в розыске. Я выслушал эту историю уже по пути из аэропорта в городок.

– А как я с ним поговорю – он же в бегах?

– Мы переговорим с его родственниками. А с ним – нет, – сказал Андрей.

Встретившись с женой и сестрой Славы, я понял, что они знают, где он. Убедить их, что я не сдам его полиции и следователям, было невозможно, хотя бы потому, что меня такая утайка подводила под статью. Любая аргументация разбивалась недоверчивыми женщинами, поэтому я, чтобы усыпить их бдительность, изложил им свой план действий: в какие СМИ мы можем попасть, как именно и что нам это даст.

Настоящий мой план, впрочем, был несколько иным, и я попросил Грицуна остаться на сутки и проследить за женщинами. Тот предсказуемо не захотел этого делать; тогда я пригрозил, что найму кого-нибудь местного, ведь мне нужен был напарник, чтобы следить за двумя сразу, а это чревато.

Резонно спросить: почему же я не думал, что менты должны бы пойти ровно тем же путем? Ведь это так очевидно и легко, что и сами сестра с женой Славы не стали бы рисковать. Но я учел, что русский мент ленив, и ему в общем-то на все наплевать, и уже прошел год, и следователи не будут ничего делать, потому что сами уже поставили себе «галочку».

Вышло все ровно так, как я и думал: супруга привела нас к гаражу. (Опять! О, эта русская тяга обживать гаражи!) Она вошла с двумя пакетами, в которых угадывалась домашняя еда – силуэты судков, контейнеров и термосов просвечивали через полиэтилен.

Мы с Грицуном обсудили, как будет лучше войти: в присутствии супруги или без нее? Решили, что лучше сделать это, пока она здесь; для этого ее следовало поймать на выходе из гаража.

Олеся отреагировала нервно: хоть и не стала бросаться с кулаками на нас, но что-то выговаривала Грицуну; впрочем, я этого уже почти не слышал, мне был интересен только Слава.

Он сидел на старом, продавленном диване посреди обычной по виду мебелировки комнаты, которую представлял из себя гараж. Правда, окна в гараже не было, вместо него – огромная фотография березовой рощи, но не плакатная, а именно фотография большого формата, специально распечатанная на плотной бумаге. Плитка для готовки, огороженный туалет с душем, небольшой холодильник.

Но вся эта ерунда не стоит описания, а вот Слава стбит. Гладко выбритый, подтянутый тридцатилетний человек в чистом простецком китайском спортивном костюме и укороченных для удобства валенках – он будто был вставлен фоторедактором в этот интерьер; он был чуть светлее всего, что его окружало: от старого буфета до недавно постеленного, не вытертого совершенно линолеума.

Я представился и тут же заявил, что хочу поговорить с ним с глазу на глаз. Олеся была против; Славе, которому деваться было некуда, который должен был испугаться и только и думать о том, сдам я ментам или нет, Славе было интересно; в конце концов мы оказались с ним наедине, условившись с прочими, что я покину гараж уже затемно, пройду три километра вдоль трассы, которая расположена недалеко от гаражей, и поймаю машину от бордюра.

– Я знаю о твоём положении. Я хочу помочь. Если ты выйдешь, мы успеем с журналистами записать твоё интервью на видео, мы разместим его везде, куда дотянемся, пара хороших изданий точно опубликует материал, – всегда, когда не знаю, как вернее приступить к разговору, говорю коротко.

– Им-то это зачем? Я обычный парень. Не какой-то оппозиционный политик же.

– Плевать. Ты – жертва. Тебя пытали. И ты невиновен. И, прости, но... пытки, человек в бегах... все это актуально.

– Меня снова примут.

– Примут, но издеваться не смогут. А дальше ты разберешься с этим делом.

– А дальше я буду сидеть. Или в строгаче, или в дурке... Пытки – это актуально, – задумчиво проговорил Слава. – Меня там чуть не трахнули, а ты – «актуально».

По тону, движению глаз в сторону и вниз, по повороту головы после этой фразы, по руке, оказавшейся на затылке и потирающей его, – я понял, что это не «чуть». Его там еще и трахнули. Отлично! Эта крайность делает историю шокирующей, броской, цепляюще-неприятной. Я уже представлял себе, какими могут быть заголовки о насилии, сведении с ума, о преступном следствии...

Оставалось раскатать его, чтобы он был готов раскрыться, выйти и говорить о самых жутких вещах подробно и под запись. Разумеется, Слава был не первым, кто не хотел обсуждать свой болезненный опыт. Потому следовало его поначалу заболтать, взять осадой, а не нахрапом.

Я расспросил его о том, что мне было действительно любопытно: каково это – сбивать людей, будучи машинистом?

– Первый раз я и не рассмотрел; потом с дистанции сообщили. Сказали: двое, мать и ребенок, девочка. Переходили... кто его знает, почему не заметили: там прямая, да и ночь, шум слышно. Я как-то и не брал на себя... А потом они начали сниться, в деталях. Девочка в голубом свитере. Я просил у следователя фотографии с места, сказал, что видел ее в этом

свитере, а он отказал; даже не сказал, в голубом или не в голубом, но так посмотрел, как будто в голубом.

Спросил о жене: как познакомились – в школе еще; о сестре: почему такая связь – рано ушли родители, сестра старшая, и т. д., и т. п., и множество неинтересных вопросов, ответы на которые, как плохое кино, предсказуемы и жалки.

– Скажи, а почему ты не признался в... интрижке? – спустя час я сделал шаг к нужной ветке его истории.

– Первое правило – про такие дела молчать.

– А сказать жене – страшнее суда за покушение и нанесение тяжких телесных?

– Кто думал, что меня будут сажать? Ты ж сам понимаешь, что я на дурака, не просек, что все серьезно. Потом этот адвокат по назначению. Придурок. Да неважно, – Слава поднялся с дивана впервые, сцепил руки за спиной.

– А Олеся как узнала, что ты изменил?

– На суде. И сам тогда же понял, что виноват. Перед ней виноват. И прилетело мне ровно за это. Мгновенная карма. Там даже по времени сходится – ровно получилось, что я... в этой девке был, когда взорвалось.

Слава остановился напротив плаката с березами, как у окна, всмотрелся в него, будто пытаюсь найти что-то новое, изменившееся с того времени, когда он в последний раз разглядывал эту рошу.

– Она все знает. Все, что со мной там делали. Знаешь, зачем я ей рассказал? Подробно потом, на свидании. Думал: так точно мне простит, так от нее скроется, что я сам-то и виноват. Что просто надо было, всего-то и надо было – не бухать, не трахаться с кем ни попадя.

– Удалось? Простила?

– Кажется, она и не думала злиться. Наши бабы так устроены. Твори что хочешь, но если потом огреб как следует – как очистился. Потому что они признают Бога и наказывать хуже него не будут, – Слава внезапно обернулся и посмотрел на меня, будто желая застать врасплох. – Да тебе насрать: ты думаешь, как меня из гаража выкурить.

– Да, – брякнул я и понял, что уже Слава ведет этот разговор, что я уже погружен в него и думать забыл об осаде.

– Так я тебе скажу, о чем бы я говорил в интервью. Вот об этом. О любви. Нет. Об уроде внутри меня. Я этого уroda тут как следует рассмотрел: все время с ним один на один. И вот смотри: я сбежал, Олеся начинает сюда приходить. И тут до меня доходит: я же у нее на шее повис, навек, понимаешь? Как-то накатило на меня, и я ей признался, что манипулировал, когда рассказал, что со мной делали. Она и не поняла, о чем я. А мне стало стыдно, что она обречена в этот гараж раз в два дня годами ходить. И еще спрашивает меня: «Что тебе приготовить?» Что мне, блять, приготовить? Мне! Приходит и... дает. Жри, ебись да спи. Сука. Невыносимо мне все это стало. Говорю ей: откажись от меня, уйди, езжай к отцу, в Анапу, с ребенком, живите у моря, или продай квартиру, купи в Грузии, в Батуми, не знаю, почему там... Орал на нее: «Хули ты ходишь? Избавься!» Она: «Люблю», – говорит. Люблю. Уговорил ее съездить с мелким на море, в отпуск. Думал, посмотрит она, как там жить, может, встретит кого и останется. Когда уезжала, я так и сказал, что может мужем меня и не считать.

Слава расхаживал по гаражу туда-сюда. Ему надо было это кому-то сказать, кому-то кроме жены.

– Как только она уехала, я на следующий день подумал – все. Не вернется. И тут у меня кукуха опять начала съезжать. В башке одна мысль: к ней, догнать, вернуть, куда я без нее. Вышел из гаража, пришел на автобусную остановку – думал, уеду. Но денег-то нет! Вернулся в гараж, а там сестра кормить приехала. Все поняла, заперла – замок только снаружи. И вот сидел я, не жрал ничего, сох. Выл тут. Плакал. Как бездомный пес. Как, сука, последний человек. Но все опять началось потом. Вернулась. Вернулась, дура.

– Тебе не нравится эта жизнь. Тебе придется выйти. Если она уйдет или уедет, ты ж опять за ней помчишься.

– Вот и я так подумал. И знаешь, что я сделал? Кончил в нее. Раз. Два. Три. Она сейчас беременна. Четвертый месяц. А знаешь зачем? Чтобы не ушла.

– Ты не один такой. Многие так делают.

– Многие – сидящие в гараже, которых надо кормить?.. Она аборт хотела сделать. Запретил. Спросил: зачем вернулась, ведь шанс был? Говорит: «Мы ж семья». А если семья, то надо плодиться и размножаться, так? Понял? Она ребенка сюда приводит с папкой поиграть. Погулять с папой. Понимаешь? Семья у нее. По гаражу с папой погулять приводит ребенка. И будет сносить это все годами. Тут с двумя играть буду. Учить бриться. И как сдачи давать. Такая вот жизнь будет. А почему? Раньше любила. «Хули ходишь?» – спрашивал. «Люблю», – говорит. Теперь и я никуда. И ей никуда. И я уже вижу, что заебал ее. Что она хотела аборт сделать. Забоялась. Снимки с УЗИ приносит, говно мое выносит, сосет мне, пообычному-то врач ей запретил...

– Опять говоришь о том, насколько тебе надо выйти и изменить все это, – настаивал я.

– Ты еще не понял? Я тут как крыса. Пока в клетке есть пожрать, где посрать и кого трахать, крыса никуда не выйдет. Я такая крыса, что, когда она три раза подряд ребенка приводила и оставить его ни с кем не могла, я орал на нее, потому что я без минета неделю!

Слава не дал разрешения сделать запись, что вполне с его стороны разумно, его можно было бы вычислить, и у меня мелькнула мысль специально подставить его, если получится достаточно материала, если как следует подготовиться и слить. Непрофессионально? Нет. Результат бы ему помог.

Но я вышел из гаража, не добившись своего, и по сугробам пошел к шоссе. Включил Генделя, сюиту № 4, BWV 437.

Дело меня уже мало беспокоило, и все мысли были только о том, любит ли он ее, и как он это сам понимает, и зовется ли вообще эта смесь страха, ревности, вины и последующей манипуляции затворника любовью, и может ли вообще такой, зависимый, уже раз предавший человек любить ту, которую предал.

Через полтора года Славе все равно пришлось покинуть гараж, и все обернулось для него куда хуже того, что предлагал я. Когда у Олеси родился второй ребенок, весь их городок начал обсуждать, кто бы мог быть папашей; зачесались даже местные менты, которые в два счета его разыскали. Они получили биллинги Олеси и увидели, что она часто ездит в соседний городок.

Слава был признан вменяемым, то есть, по мнению судей, он будто бы выздоровел, сидючи в гараже, и отправился, окрепший в заточении, за решетку на десять лет.

Любопытно, что Сися, он же Сысой, сам выискал человека, который на него покушался и изуродовал его супругу. Медлить Сися не стал и расправился с врагом, но в спешке наследил и тоже сел. Слышал, что они в одной колонии со Славой.

* * *

Я попросил Грицуна оставить меня на пару дней в Красноярске, потому что узнал, что там есть горнолыжный склон, а я все равно при пересадке с рейса на рейс остался с чехлом, в котором лежали «короткие» лыжи.

Ребра все еще болели, но аккуратно кататься это уже не мешало, и я воспользовался случаем, чтобы поработать над техникой. Инструктор выслушал мою историю про Приэльбрусье, поглядел на мои лыжи и сказал, что брать новичка на Чегет с такими огрызками в снегопад – это осознанная и продуманная попытка убийства.

Единственное, что сбивало его с толку – зачем же мне тогда дали шлем?..

Мила звонила и рассказывала, что теперь все заказывают «Завтрак злого человека». Через три дня он появился в меню, но порцию уменьшили.

Уже садясь в самолет, я выслал ей видео со своей каталки. Два часа ежедневно с инструктором плюс по полдня самостоятельно, и катание уже похоже на волевое, преднамеренное действие, а не на попытку зацепиться за склон, только чтобы уцелеть.

Мила в ответ на мое видео спросила, почему я без шлема.

5. Богадельня

Я рос в лесу. Тайга начиналась в тридцати метрах от дома. Зимой можно было услышать вой волков, и всякий раз мы выглядывали из окон и видели только разноцветные пятна света на бело-голубом снегу. Сызмала пил воду из родника и ел рябину, кислицу, малину, молодую хвою елок и мышинный горошек, собирал ольховые шишки – была такая легенда, что их можно будет сдать в аптеку за деньги. Мы строили шалаши, болтались на тарзанке вокруг длинной корабельной сосны, и веревкой служила какая-то толстая пачкающаяся изоляция силового кабеля. Мы сдирали колени и локти, резались стеклами, дрались прутиками с крапивой и всегда побеждали, пусть и с ранениями в виде волдырей. Мы вынимали из себя клещей и сжигали их, разоряли осиные гнезда и ловили щурят в плотинке на речке. Детские шкурки наши постоянно были оцарапаны лесом, чтобы с ним сливаться.

Затем я вырос, тух в городе, но все же четыре года таскался по орешнику и ельнику, по пожарищам и околкам, по болотам и мелколесью заросших полей, вытаскивая заблудившихся из низин и ветровала. Жил с компасом, рацией, навигатором и фонарем в руках, в зубах, в карманах. Мотор безупречно работал на кофе, куреве и честном слове, а ноги проходили по двадцать, а то и тридцать километров за ночь. Бывал в экспедициях, снимал кино о природе. Месяц гулял по горам в Сибири, потом отправлялся в степи Забайкалья, был в Арктическом морском походе и так далее. В квартире я порой спал в спальном мешке на полу, потому что какое-то время организм воспринимал спальник как дом.

– До свадьбы нам надо пожить в палатке, – сказала Мила.

– Зачем? – спросил я, внутренне готовый скорее поселить ее в пятизвездочный отель.

– Это как проверка... Если мы не сможем в походе... то не сможем вместе.

Отметив про себя справедливость самого утверждения, я едва скрыл раздражение. Это вам не танго – в палатке я жить могу и умею. Меня проверять палатками и походами – не след. Я не дилетант. Не дышу в спальник, не ставлю палатку с наветренной стороны или на уклоне (а если на уклоне – то сплю башкой вверх), не прожигаю носки в костре, потому что сушу их на груди. А еще я знаю, что восемь градусов в начале апреля на Куршской косе, на узкой полоске суши между Балтикой и заливом, – это не в шезлонге лежать: это ноль по ночам, постоянные ветра и тотальный запрет на костры, как и во всяком другом национальном парке.

Но Мила настроилась не на приключения даже, а на испытания в духе «курса молодого бойца».

– Поедем на велосипедах, – сказала она.

Разумеется, я, взяв билеты на самый дешевый рейс (пять тыщ туда-обратно) и стрельнув двухколесную развалюху у друга, узнал о том, что за велик нужно доплачивать, когда мы уже стояли у стойки регистрации с замотанными в пленку колесами железных коней. Едва успев скинуть велики подоспевшему на выручку приятелю в багажник, мы вернулись на стойку, где нам выдали билеты 1А и 1В. Бизнес-класс был назначен судьбой для тех, кто намеренно, наперекор разумным соображениям, решил нанести удар по собственным почкам в компании кабанов и оленей.

Мила оказалась не готова к бизнес-классу. Как порядочная рабоче-крестьянская дочь, после взлета она отправилась в уборную в хвосте салона. Попросту не знала, что есть еще один туалет, отдельный и комфортный, для богатеев, – в носу. Из-за скоротечности полета тележка с напитками вылетела в коридор стремительно и мчалась, будто сама по себе, увлаживая за собою бортпроводниц. Мила, выйдя из уборной, оказалась взаперти, не в силах обогнуть телегу, и половину полета шла, ровно покорное дитя, за раздачей напитков. Между тем я поглощал безумный коктейль из шампанского и коньяка. Поставленная спонтанно цель

– выпить и нажрать столько, чтобы перенос моей тушки в Калининград стал убыточен для «Аэрофлота», – была выполнена.

Я не помню, как выглядит аэропорт в Калининграде. Зато помню злость Милы с сильным оттенком усталости. Она села в свое кресло за пять минут до того, как самолет пошел на посадку. К этому времени я уже был изрядно пьян.

– Что ж ты надрался! Нам же еще на велосипедах ехать, – посетовала родная. – Я же забронировала уже аренду рядом с аэропортом...

Меня как током ударило. Оказывается, наша велопоездка не отменилась.

* * *

В детстве у меня не было велосипеда. Иногда мне удавалось покататься на велике кого-то из друзей. Обычно мы гоняли по нашему поселку – квадратный километр пятиэтажек в тайге – или играли в гаишников во дворе: кто-то становился на проезде и должен был задерживать нарушителей на велосипедах. Порой организовывались погони вокруг дома.

Но одно дело – гонять вокруг пятиэтажки, меняясь ролями с дворовыми друзьями, другое – сорок километров от Храброво до конторы национального парка под дождем, да еще и с рюкзаком за плечами.

В тот раз мне удалось наконец осознать, что такое тяжелое алкогольное опьянение. Прежде я думал, что бывает немного веселое опьянение, очень веселое, стыдно веселое, паскудно веселое и веселое за гранью, а «тяжелое» – это формула для уголовного кодекса. «Тяжелое» – это когда ты сделал гадость в состоянии «паскудно веселом» или «веселом за гранью». У меня же легким и тяжелым бывало только похмелье. Но само опьянение? Помилуйте.

И вот, километре на десятом я ощутил, что такое тяжелое опьянение. Это когда смотришь на разделительную полосу под колесом велика, на само колесо, и у тебя создается впечатление, что эта полоса и колесо – это шестеренки, и одна передает другой энергию, а ты сам – привод, и ты вращаешь их, и вообще крутишь планету через это колесо, которое крутит полосу, и ты держишься, чтоб не блевать, потому что если остановишься, чтоб поблеть, то планета перестанет крутиться, солнце встанет на небе, Мила разлюбит и наступит частный случай апокалипсиса, и Иоанн Богослов явится пред очи и молвит: «Скотина, я тебя предупреждал!»

Кроме прочего, сорок километров на велике – это нагрузка на какие-то необычные, атрофированные в моем организме мышцы и на участки кожи, до тех пор не подвергавшиеся никакому механическому воздействию. Алкоголь постепенно – видимо, через поры – выходил, но легче от того не становилось, становилось даже тяжелее, обезболивающий эффект зелья покидал тело вместе с последними силами. Километре на двадцать пятом задницу жгло, а спина трещала. К тридцать пятому километру показалось, что я разваливаюсь, потому что ноги работали как-то не синхронно, и за ними надо было приглядывать, чтобы уже каждой поочередно давать команду – левая вниз, правая вверх.

Мила же потрясаясь ровно, в одном, бодром темпе, крутила педали, будто у нее не ноги, а какой-то механизм. Она оглядывалась и ободряюще улыбалась, и я привстаивал с руля, на котором последний отрезок пути уже откровенно лежал.

Наконец мы вывалились к берегу залива. Мила принялась готовить, а мне выпало ставить палатку. Дуло метров десять, не меньше, но дуло с моря, так что мы, укрытые дюной и лесом, сидели в уютном и тихом своем углу и пили чай с травяной настойкой, глядя на малюсенький огонек газовой горелки.

– Ты как? – спросила Мила.

– О, каким будет завтрашний день в этом мире большом и враждебном, кто пройдет по бурлящей воде, кто напрасно распнет сам себя? Это судьба, – привстав, я прочитал строчки из песни как тост и чокнулся с Милой.

И правда – судьба. Я чувствовал освобождение и удовольствие. Отчего-то чем крепче устаешь, тем блаженнее отдых, чем труднее задача, тем ценнее ее выполнение. Я допил остывающий чай с наслаждением, большими глотками.

Разместившись в палатке, я приготовился вслух читать на ночь «Соглядатая» Набокова. Эта книжечка была самой тонкой из нечитанных, потому и взяли ее. Мила пожаловалась, что ей в спальнике холодно. Еще бы, он же летний. Мой же – теплый, широкий, сто двадцать сантиметров на двести двадцать, в нем можно и зимовать, причем вдвоем. Мила залезла ко мне, и мы вынужденно застыли, потому что двигаться в таком объеме пространства могут только гуттаперчевые люди.

К утру тело ломило; все затекло, икры и бедра отваливались, а задница горела огнем от стертой сиденьем велика кожи. Вслед за этим подтянулось легкое похмелье. Червяком я выполз из кокона, умудрившись не разбудить Милу.

Стадо кабанов метрах в тридцати от нас наблюдало за жизнью залива и ждало рассвета – и самки, и средние, прошлого года, подвинки, и еще полосатые малыши стояли у воды; крупные для годичного подростка свиньи – скорее всего, уже взрослые, но слабые самцы, которые иногда прибиваются к таким стадам, – рылись в корнях прибрежных кустов. Я, кряхтя, встал и закурил. Кабаны ничего не почувствовали: ветер дул с их стороны. Тут я ощутил, что горят не только задница, но и ладони, натертые рулем. Пошел к воде, чтоб охладить их, и тут кабаны меня причуяли. Пара тех самых ущербных самцов отскочила рывком метров на пять-семь, но самая крупная самка повернулась ко мне и замерла, и поросята, вслед за нею, тоже.

Кабаны были вечными. Они, колено за коленом, жили на косе, и сильные самцы приходили, и делали кабанят самкам, и покидали стадо, и самки боролись за жизнь стада, и дюны наступали, и коса ползла, теснимая ветрами, а человек только высадил сосны, чтоб немножко задержать это мощное движение. Кабаны пережили племена людей – одно за другим, сменявших друг друга раз в несколько сотен лет. Кабаны жили здесь, когда дремучие прибалтийские болотные люди охотились на них. Кабаны жили, когда немецкие колонизаторы строили поселки, которые казались им уютными, но на деле уютными у немцев бывают лишь кладбища, кресты которых теперь все глубже уходят в пески.

От этого племени до наших времен сохранились только эти кресты, несколько домов в поселках и самая большая в мире птичья ловушка. Гигантская, в десятки метров длиной, сеть, похожая на воронку, каждую весну поворачивается раструбом высотой со взрослую сосну на юг. Птицы попадают в воронку, которая сужается. Птицы, ведомые внутренним компасом, попадают в тупик и не могут вылететь обратно – им попросту не хватает для того ума.

Мы помогали ученым разобрать сеть: разложить ее в песках и траве во всю длину, а потом и поднять, чтобы птицы влетали внутрь получившегося конуса и их можно было окольцевать специальными трекерами, чтобы потом отслеживать, куда же они отправились, и понимать, много ли из них погибло. Работа орнитологов забавна: каждый их подопечный должен попасть в безвыходное положение, чтобы потом оказаться на карте, стать меткой, обрести фиксацию. В картографическом смысле все, чего нет на карте, на глобусе – это небытие, поэтому только ловушка и позволяет птицам быть. Ведь кто такой зяблик? Один из миллиона зябликов, а с меткой – он уже с именем или, по крайней мере, с номером. Миле нравилось разбирать сеть, и, наверное, она не думала о том, что зяблики попадут в ловушку и будут трепыхаться там, им будет страшно, но это все на благо, чтоб сохранить их вид, чтоб не позволить им пропасть; да и коса охраняется как раз для того, чтобы кабаны могли рыть свой квадратный километр земли, целую вечность рыть его, и чтобы птицы не сбивались с пути.

Мы съездили к границе, мы взбирались на дюны, на самые высокие из них, носящие имена – Высота Эфа, например, – мы смотрели на залив, на море, мы прогулялись в роще кривых и низкорослых сосен, мы попали на старое кладбище, поросшее мхом, минутные гости,

мы коснулись вечности ценой романтического преодоления, то есть ценой окончательно, уже, наверное, до мышц стертой кожи на моей жопе и слез Милы.

На третий день, и на четвертый день, и на пятый день лил дождь, и в пятый день вроде как мы решили никуда не ехать, но оказалось, что еды маловато, и мы поехали в магазин, который, конечно, был километрах в пятнадцати, то есть это все тридцать туда-обратно, и я стирал задницу уже до кости, но терпел во имя любви или из-за гордости, трудно разобрать мотивы, а Мила отчего-то отстала, и когда я оглянулся, я увидел, что она ревет. Просто ревет. Ревет, потому что дождь.

Мы добрались до палаток, и Мила, рыдая, переоделась и залезла в спальник, чтобы дальше рыдать уже в тепле и сухости. Мила была до крайности безутешна.

– Поедем в отель, – предложил я.

У меня не было выбора. И у нее не было выбора.

– Поехали, – с какой-то доселе невиданной для меня интонацией проговорила. Не проговорила даже, а этак обиженно процедила.

Наверное, я с трудом скрывал ликование. Наверное, Милу зацепила моя фраза, что-то о том, что проверку в палатках кто-то не прошел, а условие-то было, мол, такое, что если проверку не пройдем, то ничего не выйдет.

Радость ее бессилия. Триумф моего превосходства. Ты круче собственной женщины. Любимой женщины. Скажи себе это. А потом подумай над тем, что сказал, посуди сам – и давай-ка четко, Штапич: «Ты, мягко говоря, болен, победитель, блять».

Мы сняли на окраине Зеленоградска единственный доступный номер. Номер для инвалидов на втором этаже, с балкона которого можно было спрыгнуть на дюну и потом залезть обратно.

Мила сидела на балконе в халате, мерзла, пила кофе, угощалась завтраком, смотрела на море, слушала море, все думала о чем-то и молчала. Поскольку я больше смерти боюсь ее молчания, я начал нервничать. Потом она смотрела кино. Какие-то корейские мелодрамы. На вопросы отвечала односложно. «Все в порядке, просто хочется тишины», – говорила. Потом захотела гулять. И мы пошли на ночной пляж и предались там тому, чему нормальные люди, одетые по погоде, в пальто, не предаются на ночных пляжах в апреле, и нас застукали местные подростки с фонарями, и было страшно весело, и Мила заявила, что проверку мы прошли, и оба, ровно как герои Кустурицы, беспардонно романтичные.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.